

ОБЗОРЫ И СООБЩЕНИЯ

«ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»¹

Имя Н. Г. Чернышевского неразрывно связано с замечательной эпохой в истории России, эпохой так называемых «шестидесятых годов» XIX в., когда происходил процесс бурного распада и кризиса старого феодально-крепостнического строя и возникновения в его недрах и на его развалинах новой общественно-экономической формации — промышленного капитализма.

Н. Г. Чернышевский был центральной фигурой этой эпохи, самым видным и крупным ее представителем, лучшим теоретиком и самым проникательным политиком. Трудно представить себе без Чернышевского эпоху 60-х гг. XIX века.

В его лице эпоха 60-х гг. имела «великого русского ученого и критика» (Маркс), гениального крестьянского политика-революционера, блестящего публициста, убежденного критика, самого выдающегося вождя и просветителя революционных элементов своего времени, родоначальника революционного народничества и вместе с тем одного из самых выдающихся предшественников российской социал-демократии.

«Чернышевский, — пишет Ленин, — был социалистом-утопистом, который мечтал о переходе к социализму через старую, полуфеодальную, крестьянскую общину, который не видел и не мог в 60-х годах прошлого века видеть, что только развитый капитализм и пролетариат способны создать материальные условия и общественную силу для осуществления социализма. Но Чернышевский был не только социалистом-утопистом. Он был также революционным демократом, он умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя — через препоны и рогатки цензуры — идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей».

Отмеченный в 1928 г. пролетарской общественностью столетний юбилей со дня рождения Н. Г. Чернышевского явился очень заметным толчком не только для более глубокого изучения и всестороннего исследования его научных взглядов, революционной деятельности и различных сторон жизни, но и в деле публикации того огромного и очень ценного литературного наследия Чернышевского, которое еще до сих пор не увидело света.

Известно, что произведения великого мыслителя и учителя многих поколений революционной молодежи долгое время, вплоть до революции 1905 г., находились под строжайшим запретом, а самое имя его не могло упоминаться в легальной печати. Только первая русская революция позволила сыну писателя М. Н. Чернышевскому выпустить десяти томное собрание сочинений своего отца. Но это издание не могло быть полным как по цензурным условиям, так и потому, что многое из написанного Н. Г. Чернышевским в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, в сибирской ссылке и в Астрахани еще продолжало храниться в секретных правительственных архивах или попало к частным лицам и следовательно оставалось долгое время неразмысленным.

¹ «Литературное наследие Н. Г. Чернышевского». Том I. Из автобиографии. Дневник 1848—1853 гг. под редакцией и с примечаниями Н. А. Алексева, М. Н. Чернышевского и проф. С. Н. Чернова. ГИЗ, М.—Л., 1928 г., стр. 748.

Том II. Письма. Под редакцией и с примечаниями Н. А. Алексева и проф. А. П. Скафтымова. ГИЗ, М.—Л., 1929 г., стр. 792.

Том III. Письма. С общим указателем имен и материалов ко всем томам. Составлен Н. А. Алексевым и Н. М. Чернышевской-Быстровой. Под редакцией и с предисловием Л. Б. Каменева. ГИЗ, М.—Л., 1930 г., стр. 792.

Из всей обширной переписки, какую вел Чернышевский в течение многих десятилетий с родными и общественными деятелями, были опубликованы до сих пор только письма к родным из Сибири и то без многих писем, задержанных в свое время властями, и письма к Зеленому, Некрасову и Добролюбову.

К юбилею и за последние четыре года после него издано довольно много новых и переиздано старых важнейших произведений и материалов Чернышевского.

Но по праву займут одно из первых мест при дальнейшей исследовательской работе над Чернышевским изданные три тома «Литературного наследия», содержащие в себе исключительно важные и ценные материалы, проливающие яркий свет на различные стороны учения, жизни, деятельности, борьбы, лишений и страданий этого великого мыслителя и революционера.

Целью нашего обзора являются попытка в сжатой форме, и по возможности словами самого Чернышевского, дать ступок содержания этих трех томов (объемом более 2 000 страниц), так как их изучение требует подготовки и времени, которыми не всегда располагает массовый читатель. Выбирая самое важное и оригинальное из этих томов, мы стремимся дать широким читательским массам по возможности цельный политический, научный и моральный профиль этого выдающегося писателя на самых различных этапах его великой и вместе с тем трагической жизни, того самого писателя, которого высоко ценили и уважали Маркс и Энгельс и которого очень любил Ленин, чувствуя к нему непосредственную близость.

В первый том «Литературного наследия» вошли два варианта автобиографии с тремя приложениями, написанные Чернышевским в Петропавловской крепости, и его «Дневник 1848—1853 гг.» с двумя приложениями («О том, какие книги должно давать читать детям» и «Матери невесты») ¹.

По автобиографии, названной самим Чернышевским «Воспоминаниями слышанного о старине», современный читатель познакомится с чрезвычайно любопытной и в высшей степени интересной и занимательной картиной заброшенного провинциального захолустья 20—30-х гг. прошлого столетия, каким был Саратов и соседние с ним городишки типа Аткарска и Петровска, того самого Петровска, в котором по утверждению одного литератора, знакомого Чернышевского, происходило действие гоголевского «Ревизора». «Воспоминания слышанного о старине» являются не только незаменимым и интереснейшим документом для местных краеведческих научных организаций, но и ценным материалом для историка вообще, изучающего общественные отношения, быт, нравы и обычаи феодально-крепостной России первой половины XIX в.

О господствовавших среди различных слоев саратовского населения суевериях и предрассудках, мистицизме и фанатизме, бесчинствах и дневных уличных разбоях, иногда

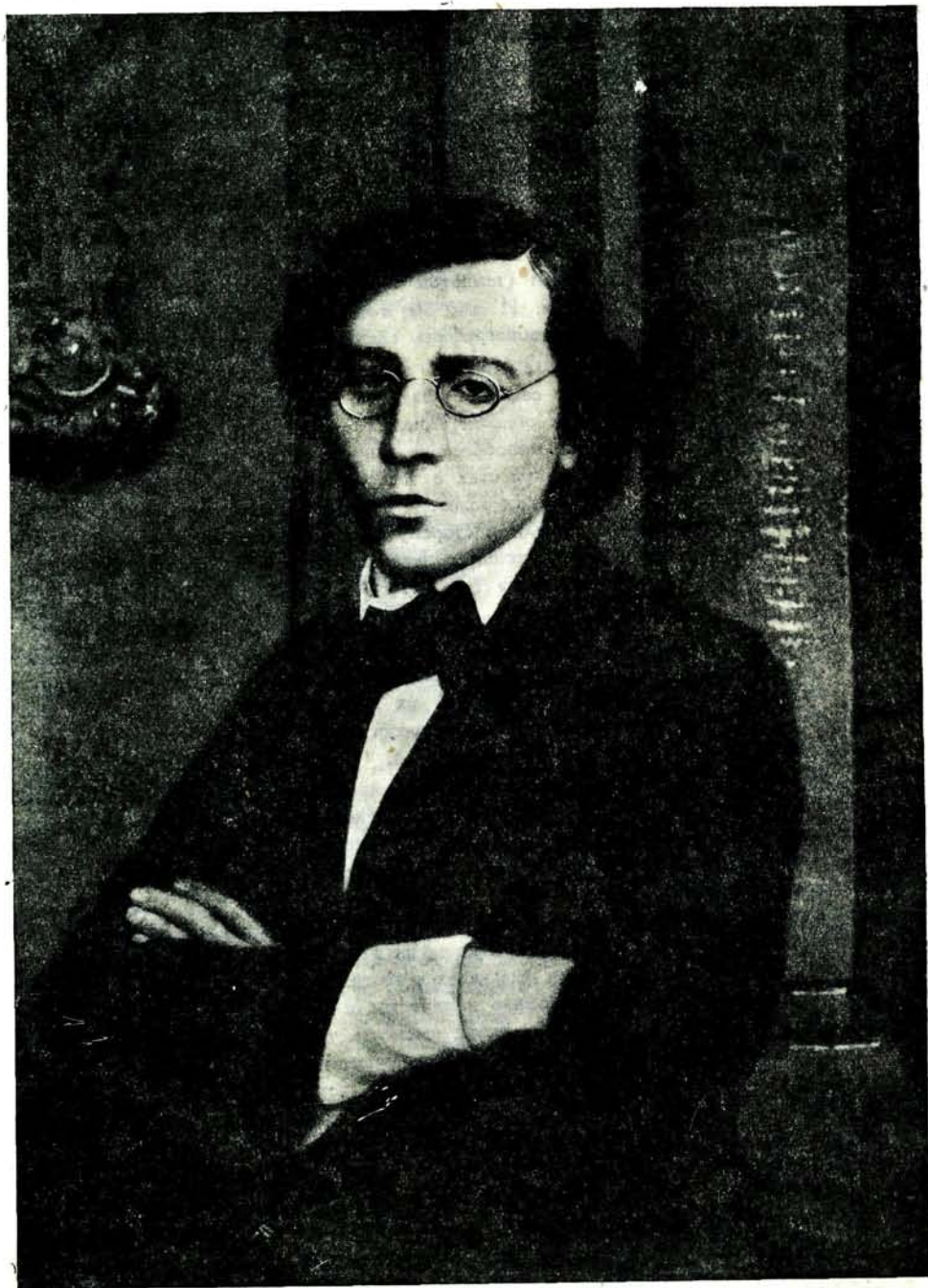
¹ Как сообщает Н. А. Алексеев, автобиография Чернышевского — одно из многих произведений, написанных им в Петропавловской крепости, и должно было составить одну из глав большого беллетристического произведения Н. Г. «Повести в повести». Автобиография осталась незаконченной, так как Н. Г. вероятно скоро убедился в том, что по тогдашним цензурным условиям он не сможет опубликовать даже те части своей автобиографии, в которых предполагал говорить «о делах и людях своей бабушки», не говоря о людях своего поколения.

Дневник, по сообщению Н. А. Алексеева и М. Н. Чернышевского, писан особой скорописью, с применением целого ряда сокращений и обозначений.

Дневник писался Н. Г. для самого себя, а не для печати, «притом в обстановке, не располагающей к отделяванию слога и порою самой неожиданной: то под видом студенческой работы на глазах у домашних, то в университете на лекциях, то даже в алтаре во время церковной службы. Не мудрено, что язык его далеко не отличается изяществом» (Алексеев). Любопытна следующая запись самого Чернышевского в его дневнике от 10 декабря 1848 г. на сей счет: «Должно ли сказать, что я думаю довольно часто, хоть на один миг, об этих записках и жалею отчасти, что пишу их так, что другой не может прочитать. Если умру, не перечитавши хорошенько и не переписавши на общепитаемый язык, то ведь все пропадет для биографов, которых я жду, потому что в сущности думаю, что буду замечательный человек» (стр. 342).

Расшифровал дневник сын писателя — М. Н. Чернышевский.

Издательство Общества политкаторжан недавно выпустило в свет отдельное издание «Дневника» в двух выпусках.



Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

С фотографии (1859 г.), хранящейся в Государственном Музее Революции СССР

и при участии полиции, невежестве, жесткости и умственной ограниченности местных властей и интеллигенции Чернышевским рассказано не только подробно, чрезвычайно красочно, но и с определенным социальным «умыслом». Он стремился на конкретных примерах и фактах из недавней прошлой истории своей родины (в это «прошлое» очень во многом оставалось для современников Чернышевского еще и настоящим!) в замаскированной, в полукудожественной и в полупублицистической форме показать подлинное лицо царской России, вскрыть и обнажить неслыханные муки и страдания широких трудящихся масс и те грубые азиатские формы насилия, каким подвергались эти массы со стороны помещиков и самодержавия. Чернышевский ставил себе целью показать те гнилые устои и шаткие основания, на которых покоилась эта якобы на первый взгляд грозная империя, разоблачить перед всем цивилизованным миром те исключительные темноту и дикость, какие царил среди основных слоев населения и по сравнению с которыми (темнотой и дикостью) испанская инквизиция и суверенные индусов буквально меркли. И как бы в доказательство этой своей мысли Чернышевский рассказывает в «Автобиографии» следующий факт:

«Около 1830 года... явился в селе Копенях злодей, корчивший из себя спасителя душ. Убеджал, убеждал и убедил: семейств двадцать, есаи не больше, нагрузили все свои пожитки на телеги и поехали обозом. Приехали — где-то за селом к овину или к ряге, — и началось спасение душ, приобретение венцов мученических: положена была плаха, — они за тем и сжали, — у плахи стал с топором злодей, несчастные подходили, один за другим, одна за другою, клали головы на плаху — наставник отрубал голову; следующие искатели спасения относили в сторону тела и головы и ложились в свою очередь для принятия венца мученического. Нескольким десяткам людей злодей дал венец мученический и уехал с телегами» (стр. 77).

Отметив, что этого не выдвигали ни Бенарес, ни Карфаген, Чернышевский делает такое заключение: «Население, в котором могло бы совершиться подобное событие, имеет право называться одним из сувереннейших, фанатичнейших на земном шаре».

Подобными сообщениями и соответствующей их интерпретацией Чернышевский возбуждал общественное мнение против царской крепостной России и пригвождал ее к позорному столбу перед европейской цивилизацией.

Итак, под предлогом дать картину своего органического развития от «ребячества к совершенствованию», на основе перебирания впечатлений своего детства, под предлогом дать «детскую картину города Саратова» Чернышевский пытался выступить в качестве историка и публициста, разоблачителя существующего порядка и проповедника своих революционных идей.

«Датская история города Саратова» есть таким образом одно из важнейших политических произведений Чернышевского, который в невинных, на первый взгляд, рассказах о чертях и старушках, снах и кулачных боях на Волге, о дворовой собаке Орешко и пьянстве и т. д. и т. п. пытался разоблачить официальные каноны исторических школ, высмеять устаревшие, но еще господствующие псевдо-научные понятия и противопоставить существующим историческим воззрениям свои собственные, а с другой стороны, свести счеты со своими политическими противниками и высказать свой взгляд и свое отношение к русскому государственному строю, к существующим общественно-политическим порядкам.

Именно так нужно подходить к этой «Автобиографии». Да и сам Чернышевский не один раз подчеркивает перед читателем целевую установку этого документа. Так например, Чернышевский обращается к своему будущему читателю со словами:

«Знаете ли, как вы должны смотреть на мои записки? Для других и для меня самого это произведение не важное, а для вас оно должно иметь такую цену, какую имел в свое время для всех трактат Коперника: для вас, значит, я открываю тайны мироздания, показываю вам, что жизнь движется вовсе не так, как вы полагали, а совершенно другим манером» (стр. 48—49. В данном случае, как и везде ниже, кроме особо оговоренных случаев, подчеркнуто нами. — И. Ф.).

Чернышевский заранее предвидит, что не сразу и не все поймут метод его писания, но иначе писать он не в состоянии, а потому он часто вынужден «возвращаться

назад и забегать вперед и больше всего делать экскурсии в стороны» (стр. 83, см. также стр. 98—99).

Чернышевский начнет рисовать нам картину своего детства, прибегая к различным сказкам, версиям, анекдотам и т. д., в которые он вкладывал глубочайший социальный и политический смысл. Приведем некоторые из них.

Рассказывая историю об одном странствующем нищем — Антоне Григорьевиче, о котором подавляющее большинство окружающих отзывались, как о «неглупом человеке, почтенном человеке, но занимающемся вздором», Чернышевский вдруг «делает экскурсию в сторону»:

«Но соображая, что ведь я очень мог бы не говорить этого, и размышляя, какими красками мог бы я разрисовать Антона Григорьевича, я подумываю себе: не годился бы я быть историком—все эти ужасные деятели или идеальные подвижники, которые приводят в негодование и в умиление историков, все эти Торквемады, Томасы, Бекеты, Иннокентии III со своими предшественниками и наследниками являлись бы у меня людьми столь же благонамеренными и достойными любви, но в сущности столь же ничтожными в серьезных делах своей эпохи, как Антон Григорьевич в делах города Саратова. И вместо них важнейшими деятелями явились бы люди, которых историки третируют с высоты своего величия за людей маловажных—а многие пьедесталы так и остались бы порожними. Хорошо, что никто до меня не писал историю города Саратова—и притом «детскую историю города Саратова»—в ней еще могу я заслужить доверие, а всеобщая история уже так размалевана, что разве во сто лет успеют считать фальшивые прикрасы, которыми закрыт истинный колорит» (стр. 148).

Разве этот «экскурс» не заключает в себе самой убийственной характеристики, какую только можно дать официальной исторической науке, которая только и занимается тем, что «размалевывает» всех этих Торквемадов, Томасов, Бекетов (а равно и русских царей и царей: Иванов, Петров, Екатерин, Николаев и т. д.), третируя «с высоты своего величия» подлинных героев исторического процесса, классы и классовую борьбу—этот подлинный «истинный колорит» общественного развития? Нужно сорвать покровы с подобного рода исторической учевости, нужно, по мнению Чернышевского, «считать фальшивые прикрасы» о царях и министрах, дворцовых переворотах и придворных интригах, «которыми закрыт истинный колорит», т. е. деятельность широких масс, постоянная борьба угнетенных классов против классов угнетательских. В другом месте мы находим у Чернышевского не менее, а пожалуй еще более убийственную, буквально уничтожающую характеристику официальной исторической науки, по писаниям которой «вы видите перед собою не жизнь, какую вы знаете, а сцены итальянской оперы», слыша которую «вы поднимаетесь на воздушном шаре, несетесь так легко—нет на вашей дороге ни ухабов, ни неровностей мостовой, ни подпрыгивания вагона по рельсам, ни подергивания пароходов от ударов машины,—так и самые порывы плавны,—так гладко и однородно» (стр. 113; подробнее см. стр. 113—117).

Рассказывая со слов своей бабушки о богомольных похождениях и приключениях своего дальнего родственника Матвея Ивановича, Чернышевский как бы мимоходом

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ТОМ ТРЕТИЙ

По редакциям Л. В. КАМЕНЕВА

ПИСЬМА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО * 1930

ОБЛОЖКА ТРЕТЬЕГО ТОМА ИЗДАНИЯ
«ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

вставляет: «Вспомнился мне совершенно другой анекдот не из того времени, не из того быта, вовсе не к тому относящийся и слышанный мною уже, когда я жил в Петербурге совершенно в другом кругу, в 1856/57 г.». Его, знакомый военный, не русский (вероятно С. Сераковский), сидя в казарме, стал вслушиваться, как солдат, готовясь к смотру, твердит «словесность».

Один из «пунктиков» этой словесности, служащий ответом на вопрос: «Что нужно солдату», гласил: «Солдату нужно немного: любить бога, царя и отечество». И вот знакомый Чернышевского слушает, как солдат все время твердит: «Солдату нужно — остановка — немного любить бога, царя и отечество». Все попытки знакомого Чернышевского поправить солдата, объяснить ему, как надо произносить эту фразу, кончились безрезультатно, так как солдат был тверд в своей правоте, «осылаясь на то, что он учит так, как ему показывал его фельдфебель». Знакомый Чернышевского возбудил вопрос между своими товарищами, но оказалось, что все учат так, как первый солдат. Наконец оказалось, что и в списках «пунктиков» значилось: «Солдату нужно» — две точки — «немного любить» и пр. Тогда знакомый Чернышевского пошел по начальству вплоть до батальонного командира, и все ему отвечали в том же духе, как и первый солдат.

«Батальонный командир, — продолжает Чернышевский, — конечно также понял, что манера знакомого более идет к делу, чем та, которую он называет ошибочною. «Но позвольте, однако ж, надобно еще подумать», сказал он. Подумал несколько минут, и сказал: «Нет, написано так: ошибки нет». — «Как нет? Как же солдату учить, что ему нужно только немного, не сильно, а слабо любить бога, царя и отечество? Это против смысла». — «Нет, я теперь увидел, в этом-то и есть настоящий смысл. Вы не русский, так вам это и кажется не так; и точно, для вас не так, вам нужно много любить бога, царя и отечество, потому что если вы не будете любить их много, то вы не будете хорошо служить. А для нас, русских, и немножко любить их уже довольно. Поняли теперь? Мы — русские, что нам много об этом заботиться? Это у нас само собою, врожденное, не то, что у вас, нам нечего об этом хлопотать». Так и осталось: «солдат должен» — две точки, пауза — «немного любить и пр.» (стр. 59—60).

И Чернышевский заканчивает свой «вовсе не к тому относящийся» анекдот следующим рассуждением, очень и очень относящимся к политическому настроению царской армии — этой одной из самых важнейших опор русского самодержавия:

«Я нахожу в этой истории — экстракт русской истории... Батальонный командир не был орел — и мы тоже не орлы, а люди; но он не был глуп, хоть и решил дело глупее дурака — нет, на это решение нужна была порядочная и порядочная тонкость ума, нужно было гораздо больше ума, чем было бы достаточно для здравого решения дела» (стр. 60).

А в другом месте, желая скомпрометировать в глазах своих читателей русскую полицию, Чернышевский опять рассказывает «анекдот»: однажды он с товарищем встретили заблудившуюся старушку, закончешую и настолько потерявшую рассудок от мороза, что не разберет, что идет по сугробу, не разберет, что все прохаживается взад и вперед в течение нескольких часов по одной улице. Как быть с нею? Чернышевский с товарищем ей говорят: «Мы тебя, бабушка, доведем до части, там обязаны дать тебе переночевать, да и пристава мы попросим, или кто там есть, хорошо приютят и покормят, а завтра поутру и пойдешь домой». «Батюшки мои, — вавыла старуха, — не губите моей души! Там меня убьют». Мы доказывали ей, что нет, не убьют, а дадут поужинать и уложат спать. Но никакие резоны не действовали: «Убьют! Там убьют! В части убьют! В части всегда убьют!» твердила старуха с таким убеждением, что мы подались и пошли на компромисс: вместо части предложили соседнюю будку — против будки старуха не имела такого твердого убеждения, была сбита нашею диалектикою, сказала наконец: «Ну, на будку, так и быть, подвезите, мои батюшки» (стр. 95).

И наш «рассказчик анекдотов» опять как бы с невинным видом заключает:

«Мнение старухи важно потому, что подано в обстоятельствах, при которых изливается из души чистейшая искренность без всякой возможности софистики, риторики или капризности, — а главное при которых слова человека уже не могут считаться проявлением индивидуальности, а должны быть принимаемы за квинтэссенцию

№ 2.

ДНЕВНИКЪ.

1849 годъ.

Январь

1 Января субботу... (фaint handwritten text)

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ШИФРОВАННОГО ДНЕВНИКА Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО 1849 г. Из архива Дома им. Чернышевского в Саратове

национальной мысли: у старухи все личное уже находилось в замороженности, глаза не разбирали дороги, рот с трудом разевался, рассудок перестал действовать, — и в этом состоянии человек уже бывает только эхом духа своей нации. Такая находка с ученой стороны всегда бывает психологическою драгоценностью» (стр. 95).

Но этим Чернышевский не ограничивается. Он идет в своих обобщениях дальше, мысли формулирует еще резче и решительнее:

«Да, старуха выразила сущность нашего саратовского воззрения на часть, представлятельную организующего начала нашей национальной жизни в ее глазах. Но за шутку или не за шутку захотите вы принять такое значение, находимое мною в словах старухи, — не подумайте, что я виню нашу русскую полицию вообще или хочу выставить вам особенно дурною саратовскую полицию моего детства. Правда, я нахожу, что если в данном случае ожидание смерти себе от рук полиции было ошибочно со стороны старухи, то признаю вполне основательным ее убеждение как общий принцип, из которого ее дело было исключением, из которого множество дел, миллионы дел — пожалуй огромное большинство отдельных случаев — бывают исключением, но который все-таки обнимает собой национальную жизнь и жизнь каждого постоянно и всюду, без всяких исключений. Несколько странно кажется такое мое рассуждение, но все факты подходят под него без всяких исключений. Это ничего: читайте дальше, вы увидите, что я все-таки рассуждаю, что хотя 2 × 2 и составляют очень часто 4, но решительно всегда бывают 5, а не 4. Я собственно говорю с тем, чтобы рекомендовать вам такую логику» (стр. 95).

И чтобы помочь читателю овладеть ключом к его логике, Чернышевский рассказывает случай, имевший место в 1840 г., когда ему приходилось видеть из окна, как несколько сот здоровых, крепких, сильных мужчин отчаянно бегут, скрываясь от погони. Оказалось, что на Волге, когда кулачный бой был в полном разгаре, явился полицейский с несколькими будочниками — и сражающиеся ринулись от них бежать. Рассказав это, Чернышевский продолжает:

«Что тут особенного? — скажете вы. — Так всегда бывает. И стоило ли это рассказывать?»

Всегда или почти всегда, и ничего особенного тут нет; но тем оно и важно, что ничего особенного тут нет. А рассказывать это стоило потому, что после такого рассказа вы обратите серьезное внимание на следующие мои дефиниции, а не отвергнете их с пренебрежением, как бессмыслицу. Что такое волк и медведь? — спрашиваю я себя и отвечаю:

Так называемый волк есть обыкновенная овца; что же касается медведя, то большинство их — телята, но некоторые из породы козлов.

Так учит жизнь. Она странно, странно колеблет неизбежность всякого рассуждения о свойствах вещей. Вы видите кусок воска — я вам говорю: не ручайтесь, что это не кусок железа, что он не может вдруг оказаться крепким и острым перочинным ножичком. Вы видите камень — я говорю: не ручайтесь, что это не булка, очень вкусная и питательная.

Эх, говорю я хитро, непонятно» (стр. 97).

Вот к каким хитросплетениям вынужден был прибегать идейный вождь разночинцев, чтобы показать, что масса, народ, коллектив, сам по себе «так называемый волк», при его примитивном сознании, при его разобщенности и заботности в условиях существующего строя оказывается еще «обыкновенной овцой». Но Чернышевский предупреждает, что рыхлая масса — воск — может быть куском железа, может оказаться «крепким и острым перочинным ножичком», которым в свое время будет проткнута, распорота и окончателю соскоблена с исторической сцены ненавистная самодержавно-крепостническая система.

Но наступит ли такой момент, когда масса из воска превратится в железо, из овцы в волка, из теленка в медведя? Настанет ли время, когда сотни крепких, отважных, темпераментных людей, руководимых вождями, не будут бегать от полицейских, как бегают зайцы от охотника? Чернышевский уверен, что такой момент настанет, и в доказательство опять рассказывает «анекдоты» про свою дворовую собаку Орешку и домашнего павлина, которые долгое время терпели издевательства и шалости, какие над ними проделывал в детстве Чернышевский. Но настал момент и их «бунта»: «вдруг Орешко хамкнул с громким стуком зубов в полувершке от моего носа», а павлин вдруг «усиленно прыгнул вперед, взмахнув крыльями... Подскочил и клевнул меня в голову; я так и присел на месте» (стр. 98).

Итак, масса, угнетенный народ — это Орешко, павлин, которые терпят над собою издевательства до поры до времени. Наступит конец и их терпению. И развернут они тогда свои мощные силы...

Вот в чем состояла суть его логики, вот где был ключ к истории в интерпретации Чернышевского.

Подчеркивание роли массы и революционеров дела и мысли, с одной стороны, и разоблачение их заклятого врага — самодержавия с его полицией, армией, печатью и т. д. — с другой — постоянная тема для его «анекдотов», «сказок», «экскурсий».

Закончим обзор «экскурсий» нашего автора выводами о России вообще, скрытыми Чернышевским в его рассуждениях о «саратовской системе государств». В довольно длинных рассуждениях, занимающих несколько печатных страниц, Чернышевский рисует Саратов как страну, состоящую из 10 тысяч государств при самых разнообразных формах правления, а семейство Чернышевских, как Швейцарию, состоящую из 5 кантонов:

«Что такое есть Европа?» вопрошает Чернышевский читателя и отвечает:

«Это пространство земли, занимаемое очень многими государствами, из которых некоторые сильны, другие слабы, но из которых каждое имеет свою особенную верховную власть, свои особые законы, свои особые нравы, понятия и пользуется независимостью. Слабые государства ищут покровительства сильных, сильные, когда захотят, заставляют слабые исполнять их требования, берут у них, сколько могут взять, иногда покоряют их и пр. Просвещенному читателю известно, что такое Европа».

Саратов есть Европа в чрезвычайно увеличенном и усложненном размере. В мое детство число его жителей считали, — как случится, — от 30 до 50 тысяч человек. По этим цифрам надобно считать, что Саратов заключал в себе от 6 до 10 тысяч государств. Не подумайте, что я играю словами, — я прошу принимать термин «государство» в са-

мом строгом буквальном смысле, со всеми дипломатическими, юридическими и т. д. чертами, лежащими в понятии государства.

Как в Европе, так и в Саратове образ правления государств был чрезвычайно разнообразен. Были самодержавные монархии, конституционные монархии с парламентами, республики аристократические и демократические. Как и почему какое государство имело такой, а не иной образ правления — зависело от особенностей нации, составлявшей государство, и других обстоятельств, определяющих форму правления и в Европе» (стр. 99—100).

Представляя себе Саратов как систему государств с самыми разнообразными нравами, обычаями, законодательствами и правлениями и подчеркивая, что «отношения между этими разнообразиями были чисто международные, что это были разные государства с разными народами, бесчисленные государства с бесчисленными народами», Чернышевский намекал читателю, что Саратов — это колониальная русская империя, образовавшаяся на грубом захвате, насилии и грабеже и представлявшая собой целую систему многочисленных колоний и полукolonий с многосложными классовыми, национальными, религиозными и т. д. переплетами и противоречиями. Когда Чернышевский говорил о Саратове как о целой системе государства, он безусловно имел в виду не только свой Саратов, но и Великороссию, и Украину, и Польшу, и Финляндию, и Туркестай, и Кавказ, и Сибирь и т. д., имея в виду не только противоречия между колониями и метрополией, но и внутри этих колоний самые различные классовые, национальные и другие переплеты, которые в конечном счете ввервали в 1917 г. старую Русскую империю.

Но Чернышевский — мыслитель и проповедник действенный. Он не ограничивается только простой констатацией фактов. Он всячески подчеркивал, и напоминал прогрессивным слоям общества, что Россия находится на переломе, на грани двух эпох.

Но зачем считать себя тем государством, которое не имеет права на существование? Неужели вы не видите, что вы не только не имеете права на существование, но и не можете существовать? Неужели вы не видите, что вы не только не имеете права на существование, но и не можете существовать? Неужели вы не видите, что вы не только не имеете права на существование, но и не можете существовать?

Если вы не видите, то вы не можете существовать. Если вы не видите, то вы не можете существовать. Если вы не видите, то вы не можете существовать. Если вы не видите, то вы не можете существовать. Если вы не видите, то вы не можете существовать.

Да я вижу —

и я вижу вас дооброго человека — но вы не видите, что вы не можете существовать? Неужели вы не видите, что вы не можете существовать? Неужели вы не видите, что вы не можете существовать?

Но вы не видите, что вы не можете существовать? Неужели вы не видите, что вы не можете существовать? Неужели вы не видите, что вы не можете существовать? Неужели вы не видите, что вы не можете существовать? Неужели вы не видите, что вы не можете существовать?

что исторический процесс привел ее к необходимости коренных преобразований, что история с неизбежной закономерностью выдвигает для этой цели определенных вождей и что он, Чернышевский,— не иначе, как «выдвинут» историей в вожди новой эпохи.

Но что это была за эпоха? Это был переломный момент в истории развития России. Феодално-крепостническая система хозяйства разлагалась под напором роста капиталистических элементов во всех секторах экономики и в результате все большего и большего включения русского народного хозяйства в систему мирового рынка.

Эти обстоятельства ставили перед Россией задачу приспособления к европейским методам хозяйствования и переводили основы русского хозяйства на рельсы буржуазного развития. Но рост капитализма в недрах феодальной системы наткнулся на огромные препятствия со стороны старых феодально-крепостнических устоев, и прежде всего со стороны существовавшего крепостного права.

Нужда быстро растущего промышленного капитализма в дешевой и свободной рабочей силе, в росте емкости внутреннего рынка; проникновение как в крупные крепостные, так и в крестьянские хозяйства денежных отношений; целый шквал волнений угнетенного крестьянства, начавшийся еще задолго до манифеста 19 февраля 1861 г. против оков крепостничества, за свободный путь капиталистического развития,— все это ставило на очередь дня вопрос об отмене крепостного права.

Но глубокие изменения в социально-экономической обстановке страны вызвали конечно и глубокие изменения в борьбе различных направлений русской общественной мысли за ту или иную генеральную линию дальнейшего развития России. Основные идеологические центры главнейших классовых лагерей чувствовали, что страна стоит перед крупными внутренними изменениями и социальными преобразованиями.

Весь вопрос сводился к тому, кто должен стать во главе этих преобразований и какими путями должно пойти это преобразование.

А что Чернышевский еще с университетской скамьи готовится к роли вождя новой эпохи, показывает его дневник, к разбору и анализу которого мы и переходим.

* * *

Дневник Чернышевского разворачивает перед читателем по своему содержанию, а также по своей откровенности и искренности замечательную и на редкость поучительную картину процесса формирования не только благородного характера, светлой и высокой нравственной личности, но и — что особенно важно — исключительно интересного, зигзагообразного и сложного хода развития его философских, исторических, литературных и особенно социально-политических взглядов.

Еще из автобиографии читатель узнает от самого Чернышевского, что он «сделался библиофагом, пожирателем книг очень рано».

Вот почему нас совершенно не должно удивлять то обстоятельство, что, поступив 18-летним юношей в Петербургский университет, Чернышевский не только выделялся среди своих сотоварищей начитанностью и образованностью, но и мог большую часть своего времени отдавать кроме занятий по университетской программе (которая для него была слишком примитивна и скучна) еще на знакомство с передовыми выдающимися писателями России и особенно Западной Европы, произведения которых оказали на формирование его идеологии исключительное влияние. Этой усиленной умственной работе над собою способствовало знакомство Чернышевского с некоторыми революционно настроенными студентами (М. Михайловым, В. Лободовским, А. Ханьковым), имевшими на него сильное влияние самостоятельностью своих мыслей, резкостью своих суждений и некоторыми чертами своего характера.

Содержание дневника дает нам право утверждать, что мировоззрение Чернышевского складывалось и оформлялось под сильнейшим влиянием следующих факторов: во-первых, под впечатлением русских условий, т. е. под впечатлением мрачной, феодально-самодержавной социально-политической обстановки, во-вторых, под влиянием революционных событий 1848 г. в Европе, и в-третьих, в результате изучения тех мыслителей, на трудах которых воспитывался например Маркс. Этот идейный рост виден по тем записям, в которых изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год студент Чернышев-

ский заносит в свой дневник свои впечатления от знакомства с произведениями Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Герцена, Белинского, Гете, Шиллера, Руссо, Мишле, Канта, Гегеля, Фурье, Фейербаха, Бланки, Жорж Занд, Диккенса, Беранже, Гизо, Луи Блана и т. д. и т. п. О большинстве перечисленных писателей он отзывался так: «Эти люди — мои друзья, т. е. я им преданный друг».

Ко многим из перечисленных писателей он сохранил большую любовь, граничащую с благоговением, до самого конца своей жизни. Когда Терсинский (один из его родственников) позволил однажды выразиться в споре с Чернышевским, что «всякий великий писатель — фигляр», Чернышевский резко обрушивается на него, а на следующий день в своей записке опять возвращается к спору с Терсинским и негодует:

«Писатели — фигляры, великий писатель — великий фигляр» — это больно, как богохульство, осквернение того, что есть возвышенного в жизни и деятельности человека, и больно видеть вблизи себя такого человека... они наши спасители, эти писатели, как Лермонтов и Гоголь, а мы называем их фиглярами — жалкая, оскорбительная неблагодарность, близорукость, пошлость! Это несколько волновало, и я был недоволен» (стр. 217)!

Но значит ли это, что при таком высоком уважении к этим знаменитым писателям Чернышевский не критически относился к их произведениям, механически воспринимал их теории и учения? Отнюдь нет. Даже наоборот. Судя по запискам в дневнике, Чернышевский всячески борется например против влияния на него Фейербаха, долго и упорно размышляет над возможностью примирения учения Фейербаха с каким-то идеалистическим христианством. А в 1850 г. Чернышевский окончательно переходит на точку зрения феербаховского учения, записывая 15 сентября в дневник: «Скептицизм в деле религии развился у меня до того, что я почти решительно от души предан учению Фейербаха» (стр. 530). Потом, вплоть до самого конца своей жизни, Чернышевский считал себя учеником этого писателя и оставался верным его учению.

Подчеркивание связи теоретических взглядов с жизнью, с политической деятельностью проходит красной нитью во всех рассуждениях Чернышевского. Вся его умственная деятельность, весь процесс выработки мирозерцания проходили под знаком интереса к политике, под знаком увязки теоретической деятельности с требованиями практической политики. Чернышевский весь свой студенческий период жизни посвятил по существу подготовке из себя политического деятеля, политического вождя. 17 мая 1850 г. Чернышевский в дневнике отмечает, что «в этом обществе говорят против религии, и меня это заставляет говорить против нее, поддакивая, между тем я занят не этими вопросами, а политическими и социальными».

В центре его духовных интересов в 1848—1849 гг. стояли политические события, происходившие во Франции, Италии, Германии, Австрии, Венгрии и т. д. Чувствуется, что европейские события произвели на студента Чернышевского острое впечатление. С затаенным дыханием, с волнением и большими внутренними переживаниями следит он по «Débats» за ходом революции, испытывая огромный подъем при ее победах и горькое разочарование при ее поражениях. Его дневник наполнен многими страницами восхищения перед Луи Бланом, Ледрю Ролленом, Коссидером, когда они, — как ему тогда казалось, судя по буржуазным газетам и журналам, — были мужественными и решительными вождями французской революции 1848 г. По его мнению эти люди «тверды духом и чисты совестью и сильны словом» (стр. 266). Известно, что впоследствии Чернышевский резко изменил свое мнение об этих деятелях, подвергая резкой критике их политические действия, поведение и т. д.

Все симпатии Чернышевского на стороне восставших, на стороне взбунтовавшихся трудящихся масс. В дневнике много мест, подтверждающих его сочувствие революции: «Я защищал социалистов, Францию и ее вечные волнения», записывает он 29 августа 1848 г. «Я террорист и последователь красной республики» (запись от 2 сентября 1848 г.).

Чернышевский прекрасно отдаст себе отчет в том, вокруг чего и между кем идет борьба на Западе. Он негодует на Кавеньяка, «который думает, что глупостями можно успокоить Францию, а не излечением социальных зол».

«Эх, господа, — продолжает Чернышевский, — вы думаете, дело в том, чтобы было»

слово республика, да власть у вас,— не в том, а в том, чтобы избавить низший класс от его рабства не перед законом, а перед необходимостью вещей... Чтобы он мог есть, пить, жениться, воспитывать детей, кормить отцов, образовываться и не делаться—мужчины трусами или отчаянными, а женщины—продающими свое тело. А то вздор-то! Не люблю я этих господ, которые говорят свобода, свобода и эту свободу ограничивают тем, что сказали это слово, да написали его в законах, а не вводят в жизнь, что уничтожают тексты, говорящие о неравенстве, а не уничтожают социального порядка, при котором $\frac{9}{10}$ —орда, рабы, пролетарии; не в том дело будет царь или нет, будет конституция или нет, а в общественных отношениях, в том, чтобы один класс не сосал кровь другого» (стр. 266).

Итак, Чернышевский— за угнетенные массы. Он возмущается тем пренебрежительным отношением, какое в Западной Европе имеется со стороны буржуазии к низшему классу. «Какое пренебрежение к низшему классу!— записывает он 11 сентября 1848 г.— Теперь буржуазия, как я увидел, решительно снова берет верх, но и то хорошо, что она берет верх, как хищница, а не как раньше— по закону: конечно хищение легче разрушить, чем закон» (стр. 270—271).

А 18 сентября 1848 г. Чернышевский определяет свою позицию еще резче и определеннее: «Мне кажется, что я стал по убеждениям в конечной цели человечества решительно партизаном социалистов и коммунистов и крайних республиканцев». Он возмущается тем, что в наше время открытой борьбы, когда противоречия обострились и борьба приняла исключительно острые формы, могут быть люди, считающие себя аполитичными, внепартийными людьми. «Как мне противно,— пишет он,— когда кто-то настаивает на том, что он решительно беспристрастен, не принадлежит ни к какой партии— да как же можно не принадлежать ни к какой партии, ни к какой школе?» (стр. 401):

Иногда его негодование против врагов революции доходит до наивысших пределов. Образчиком подобного негодования может служить запись от 14 ноября 1848 г. о расстреле члена Франкфуртского собрания Роберта Блюма: «Расстрел члена собрания без его ведома. Это ужасно, это возмутительно, мое сердце негодуёт... На виллиду Виндишгреца и всех» (стр. 323). Следует отметить, что примерно через 2 месяца, 11 января 1849 г., Чернышевский снова возвращается к мысли о Блюме: «А Роберт Блюм все нейдет у меня из головы, и все меня беспокоит мысль, что это убийство должно остаться без отпущения» (стр. 370).

А отомстить было некому, ибо Франкфуртское собрание было только говорильней, а не действительным революционным учреждением. Чернышевский это видел и откликнулся в дневнике следующей тирадой против него: «Бездействие и нерешительность Франкфуртского собрания мне не нравятся— кажется оно должно было бы понять, что произойдя из воли народа, против воли правительства, оно и должно, если не хочет осудить себя на смерть, стоять с народами против правительства» (стр. 333).

Но Франкфуртское собрание распущено. Это послужило примером для роспуска Национального собрания и в Австрии. 8 марта 1849 г. Чернышевский записывает: «Из Университета заходил к Вольфу, где узнал о том, что в Австрии также распущено Национальное собрание и дана Конституция императором— итак, вот как ободрил пример Пруссии. Хорошо! Хорошо! Будет и на нашей улице праздник и скорее, чем вы думаете» (стр. 399).

Нам кажется, что приведенных выдержек из дневника вполне достаточно, чтобы сделать заключение, что 20-летний скромный и застенчивый студент, всего только два года назад попавший из провинции в столицу, не только объявляет себя сторонником вооруженного восстания западноевропейского трудящегося люда и приверженцем массового террора, но и по буржуазным заграничным газетам сумел разглядеть сущность и значение классовой борьбы, происходившей на Западе. Освещение этих событий в дневнике с точки зрения глубины и остроты их анализа по своему значению и

по своей ценности уступали в то время во всей международной социалистической и революционной литературе только Марксу и Энгельсу и никому больше. И в то время как например Герцен в результате поражения революции в Западной Европе пришел к пессимистическим выводам относительно дальнейшего развития Европы, Чернышевский, как мы видели, не унывал, будучи глубоко уверен, что «будет и на нашей улице праздник».

События в Западной Европе привели Чернышевского к размышлению над положением дел в царской России и заставили решить для себя ряд важнейших политических вопросов, связанных с коренным изменением общественных отношений, вплоть до свержения старого порядка.

Первую систематизированную характеристику своих умонастроений, правда, пока еще не совсем развернутую и окончательную, Чернышевский дает в записи от 2 августа 1848 г. под рубрикой: «Обзор моих понятий». Там мы читаем: «История — вера в прогресс. Политика — уважение к Западу и убеждение, что мы никак не идем в сравнение с ними, они мужи, мы дети... Кажется я принадлежу к крайней партии, ультра... Литература: Гоголь и Лермонтов кажутся недостижимыми, великими, за которых я готов отдать жизнь и честь. Защитники старого, например «Библиотека для чтения» и «Иллюстрация», пошлы и смешны до крайности, глупы до невозможности, тупы непостижимо» (стр. 225):

В записи от 23 сентября того же года, Чернышевский, как бы продолжая мысли, изложенные в записи от 2 августа, еще резче и определеннее формулирует свои мысли о себе и о своей будущей роли:

«Если писать откровенно о том, что я думаю о себе, не знаю, ведь это странно — мне кажется, что мне суждено может быть быть одним из тех, которым суждено внести славянский элемент в умственный, поэтический и нравственный и практический мир, или просто двинуть человечество по дороге несколько новой... Итак, я должен сказать, что я довольно твердо считаю себя человеком не совершенно дюжинным, а в душе которого есть семена, которые если разовьются, то могут несколько двинуть вперед человечество в деле воззрения на жизнь, и если я хочу думать о себе честно, то конечно я не придаю себе бог знает какого величия, но просто считают себя одним из таких людей, как например Гримм, Гизо и пр., или Гумбольды, но если спросите мое самолюбие, то я могу отвечать себе — я бог знает что, может быть из меня выйдет что-нибудь вроде Гегеля или Платона, или Коперника, одним словом человек, который придаст решительно новое направление, которое никогда не погибнет, который один открывает столько, что нужны сотни талантов, или гениев, чтобы идеи, высказанные этим великим человеком, переложить на все, к чему могут быть они приложены, в котором высказывается цивилизация нескольких предшествующих веков как огромная посылка, из которой он извлекает умозаключения, который задаст работы целым векам, составит начала нового направления человечества» (стр. 282—283):

Примерно через год, в записи от 11 июля 1849 г., Чернышевский опять возвращается все к той же постоянной мысли о себе, своих мнениях, связанных со своим политическим настроением и со своею политическою будущностью:

«Политика: а) Теория — красных республиканцев и социалистов... если бы мне теперь власть в руки, тотчас провозгласил бы освобождение крестьян, распустил бы более половины войска, если не сейчас, то весьма скоро, ограничил бы как можно более власть, административную и вообще правительственную... как можно более просвещения, учения, школ. Едва ли бы не постарался дать политические права женщинам.

б) Практика — друг венгров, желаю поражения там русских и для этого готов был бы самим собою пожертвовать... Итак, надежды и желание... в) через несколько лет я журналист и предводитель или одно из главных лиц крайней левой стороны» (стр. 441—442).

Мысль — особенно на фоне разрастающихся крестьянских волнений по всей России и величайших революционных событий в Западной Европе — о предстоящей народной революции в России, против существующего строя и о безусловном активном личном

участии в ней встречается в дневнике Чернышевского довольно часто. Чаще всего Чернышевский ведет разговоры на эту тему с В. П. Лободовским и А. Ханыковым. В записи от 3 августа 1848 г., передавая свой разговор с Лободовским, Чернышевский сообщает, что «он сильно говорил о том, как бы можно поднять у нас революцию. и не шутя думает об этом: «Элементы, говорит, есть—ведь поднимаются целыми семьями и потом не выдают друг друга, так что приходится наказывать по жребию: ...мысль о восстании для предводительства у него уже давно» (стр. 225—226). Вероятно эта же тема была предметом и их другого разговора, когда они «сидели с за-



ПРОКЛАМАЦИЯ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО «ВАРСКИМ КРЕСТЬЯНАМ»

С оригинала, переписанного М. И. Михайловым и хранящегося в делах I Отделения 6-го Департамента Правительствующего Сената (ныне в Архиве Революции и Внешней политики в Москве)

творенными дверями и говорили весьма тихо, так что ничего нельзя было слышать, поэтому откровенно, решительно»:

А когда Ханыков как участник кружка Петрашевского был арестован, Чернышевский с возмущением, с большим негодованием записывает: «разговаривал о том, как взяла полиция тайная Ханыкова, Петрашевского, Дебу, Плещеева, Достоевских и т. д.—ужасно подлая и глупая, должно быть, история; эти скоты, вроде этих свиней Бутурлина и т. д., Орлова и Дуббельта и т. д., должны были бы быть повешены. Как легко попасть в историю,—я например никогда не усумнился бы вмешаться в их общество и со временем конечно вмешался бы» (стр. 419).

Будучи занят мыслями о предстоящем перевороте в России, Чернышевский, насколько ему позволяла студенческая жизнь, пытался непосредственно выяснить настроения трудящихся низов и по мере возможности внушать им свои мысли. Так например, в одной из записей в феврале 1850 г. мы читаем: «...Извозчик на Неве сказал, что за пяточок свезет; я сел и говорил с ним об их положении, как притесняют, только вообще говорил, что должно стараться от этого освободиться... А когда оттуда ехал,

и говорил уже с извозчиками весьма ясно, что (надо) силою, что требовать добром нельзя дожидаться» (стр. 502). Примерно такая же запись в другом месте: «Пошел новою дорогою... переходя тут ручеек, нагнулся пить и потерял наконецник ножен шпаги, воротился искать, мужик поднял. Я сказал ему, чтобы он пошел со мной до города, где я разменяю свой целковый... Пошли, стал говорить я, стал вливать в него революционные понятия, расспрашивал, как они живут» (стр. 435).

Но Чернышевский этим не удовлетворяется. У 22-летнего студента возникает более смелая по замыслу и сильная по своему воздействию мысль. В записи от 15 мая 1850 г., рассказывая о своем посещении Лободовского, Чернышевский задумывается над организацией тайной типографии, о напечатании подложного документа, который вызвал бы восстание крестьянских масс. Но скоро отказывается от этой мысли, ибо боится, что печатная пропаганда возбудит недоверие народа. У него зарождается мысль: «не лучше ли написать воззвание к восстанию, а не манифест, не употребляя лжи, а просто демагогическим языком описать положение и то, что только сила, и только они сами через эту силу могут освободиться от этого».

Записав это, Чернышевский продолжает, что он «почувствовал себя личным врагом, чувствовал себя в измененном положении так, как чувствует себя заговорщик, как чувствует себя генерал в отношении к неприятельскому генералу, с которым должен вступить завтра в бой, внутренне теперь почувствовал, что я может быть способен на поступки самые отчаянные, самые смелые, самые безумные. Посмотрю, что из меня выйдет при моей трусости и таком характере. Этот ток мыслей и эта перемена вся произошла в 8-м часу вечера 15 мая 1850 г.» (стр. 511—512).

Не может быть никаких сомнений, что мысль о написании возвания к крестьянам с призывом к восстанию, зародившаяся у студента Чернышевского, не исчезла бесследно, а была им же осуществлена через несколько лет. Знаменитая прокламация «Барским крестьянам» вне всякого сомнения и есть то самое «воззвание к восстанию», в котором списывалось положение крестьянства и то, что только сами крестьяне могут освободиться от барского гнета и царского произвола.

Мысль о предстоящей крестьянской революции и активном участии в ней не проходила у Чернышевского не только во время его студенческой жизни, но и значительно позже. Через несколько лет (в 1852—1853 гг.), уже окончив университет и живя в Саратове как педагог местной гимназии, Чернышевский не бросает мысли о предстоящем перевороте, не забывает, что он революционер, что ему предстоит тяжелая борьба в будущем, что он может быть заточен в Петропавловскую крепость. В дневнике мы находим такой записанный Чернышевским разговор со своей невестой:

«Итак, я должен ехать в Петербург. Приехавши туда, я должен буду много хлопотать, много работать, чтобы устроить свои дела. Я не буду иметь ничего по приезде туда; как же я могу явиться туда женатым? С моей стороны было бы низостью, подлостью связывать с своей жизнью еще чью-нибудь и потому, что я не уверен в том, долго ли буду я пользоваться жизнью и свободой. У меня такой образ мыслей, что я должен с минуты на минуту ждать, что явятся жандармы, отвезут меня в Петербург и посадят меня в крепость, бог знает, на сколько времени. Я делаю здесь такие вещи, которые пахнут каторгой — я такие вещи говорю в классе».

«Да, я слышала это!»

«И я не могу отказаться от этого образа мыслей — может быть с годами я несколько поохладею, но едва ли».

«Почему же? Неужели в самом деле не можете вы перемениться?»

«Я не могу отказаться от этого образа мыслей, потому что он лежит в моем характере, ожесточенно и недовольно ничем, что я вижу кругом себя. Теперь я не знаю, охладю ли я когда-нибудь в этом отношении. Во всяком случае до сих пор это направление во мне все более и более только усиливается, делается резче, холоднее, все более и более входит в мою жизнь. Итак, я жду каждую минуту появления жандармов как благочестивый схимник каждую минуту ждет трубы страшного суда».

Кроме того у нас будет скоро бунт, а если он будет, я буду непременно участвовать в нем...»

«Каким же это образом?»

«Вы об этом мало думали или вовсе не думали?»

«Вовсе не думала!»

«Это непременно будет. Неудовольствие народа против правительства, налогов, чиновников, помещиков все растет. Нужно только одну искру, чтобы поджечь все это. Вместе с тем растет и число людей из образованного кружка, враждебных против настоящего порядка вещей. Готова и искра, которая должна зажечь этот пожар. Сомнение одно — когда это вспыхнет? Может быть лет через десять, но я думаю, скорее. А если вспыхнет, я, несмотря на свою трусость, не буду в состоянии удержаться. Я приму участие!»

«Вместе с Костомаровым?»

«Едва ли — он слишком благороден, поэтичен; его испугает грязь, резня. Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня».

«Не испугает и меня». (О, боже мой! Если бы эти слова были сказаны с сознанием их значения!)

«А чем кончится это? Каторгою или виселицею. Вот видите, что я не могу соединить ничьей участи со своей» (стр. 556—557):

В другом месте, опять объясняясь с невестой, Чернышевский говорит ей: «Меня каждый день могут взять. Какая тут моя роль? У меня ничего не найдут, но подзрения против меня будут весьма сильные. Что же я буду делать? Сначала я буду молчать и молчать. Но наконец, когда ко мне будут приставать долго, это мне надоест, и я выскажу свои мнения прямо и резко. И тогда я едва ли уже выйду из крепости» (стр. 603):

Почти каждое из этих последних слов оказалось буквально пророческим в дальнейшей судьбе Чернышевского.

Итак, еще в студенческие годы Чернышевский относит себя в лагерь непримиримых и постоянных врагов русского самодержавия, в лагерь борцов против монархического образа правления. Он считает, что монархия — орудие дурное, «прививающее зло к добру», и что ее должна заменить республика, ибо последняя «есть настоящее, единственное достойное человека взрослого правление». Но, как мы видели выше, он стоит за такую республику, которая обеспечивала бы действительное равенство людей, за такую республику, в которой бы «один класс не сосал кровь другого».

Справедливость требует все же отметить, что по вопросу о монархической форме правления Чернышевский около года находился в наивном заблуждении. Находясь под огромным влиянием Гизо, считая его «человеком гениальным», молодой студент увлекся его идеей о социальной надклассовой монархии, которая должна стоять выше всех классов и должна видеть свое назначение в поддержке угнетаемых, в защите интересов широких народных масс. «Итак, я думаю, — записывает он 18 сентября 1848 г., — что единственная и возможно лучшая форма правления есть диктатура или лучше наследственная неограниченная монархия, но которая понимала бы свое назначение, что она должна стоять выше всех классов и собственно создана для покровительства утесняемых, а утесняемые — это низший класс, земледельцы и работники, и поэтому монархия должна искренне стоять за них, поставить себя главою их и защитницею их интересов. И это должно делать от души, по убеждению, и должно конечно знать, что ее роль временная». (стр. 276). Неограниченный монархизм, по мнению Чернышевского, должен развить в русском народе демократический дух, поднять низшие слои населения по умственному развитию и по средствам жизни до высших сословий и потом постепенно сам себя ликвидировать, уступив место народному правлению.

Через год Чернышевский сам понял всю утопичность и несерьезность своих надежд, возлагавшихся на абсолютизм:

«С год должно быть тому назад, — записывает Чернышевский 20 января 1850 г., — или несколько поменее писал я о демократии и абсолютизме. Тогда я думал так, что лучше всего, если абсолютизм продержит нас в своих объятиях до конца развирья в нас демократического духа, так что, как скоро начнется народное правление, пра в

ление *de jure* и *de facto* перейдет в руки самого низшего и многочисленного класса: земледельцы + поденщики + рабочие, так, чтобы через это мы были избавлены от всяких переходных состояний между самодержавием (во всяком случае нашим) и управлением, которое одно может соблюдать и развивать интересы массы людей. Видно тогда я был еще того мнения, что абсолютизм имеет естественное стремление препятствовать высшим классам угнетать низшие, что это противоположность аристократии, а теперь я решительно убежден в противном — монарх, а тем более абсолютный монарх, только завершение аристократической иерархии, духом и телом принадлежащий к ней. Это все равно, что вершина конуса аристократии». Теперь он посылает абсолютизму проклятие: «погибни, чем скорее, тем лучше, пусть народ не приготовленный вступит в свои права, во время борьбы он скорее приготовится; пока ты не падешь, он не может приготовиться потому, что ты причина слишком большого препятствия развитию умственному даже и в средних классах; низшим, которые ты представил на решительное угнетение, на решительное иссосание средних, нет никакой возможности понять себя людьми, имеющими человеческие права. Пусть начнется угнетение одного класса другим, тогда будет борьба, тогда угнетенные сознают, что они угнетены при настоящем порядке вещей, но что может быть другой порядок вещей, при котором они не будут угнетены; поймут, что их угнетает не бог, а люди; что нет им надежды ни на правосудие, ни на что, потому что между угнетающими их нет людей, стоящих за них; а теперь они самого главного из этих угнетателей считают своим защитником, считают святым. Тогда не будет святых, а будет: ты подлец, взяточник, грабитель, жестокий притеснитель, пиявка, развратник, и ты тоже, и он тоже, и нет между вами никого, кто променяет свой класс на наш класс, кто стал бы за нас против вас и стал бы искренне, с убеждением, без своекорыстной цели. Вот мой образ мысли о России, ожидание близкой революции и моя надежда ее, хотя я и знаю, что долго, может быть весьма долго, из этого ничего не выйдет... Пусть будут со мною конвульсии,— я знаю, что без конвульсий нет никогда ни одного шага вперед в истории. Разве и кровь в человеке двигается не конвульсивно. Биение сердца разве не конвульсия. Разве человек идет, не шатаясь. Нет, с каждым шагом он наклоняется и путь его — цепь таких наклонов; глупо думать, что человечество может идти прямо и ровно, когда это до сих пор никогда не бывало» (стр. 496—497).

Следовательно, мысль о перевороте, об участии в нем, вплоть до своей собственной гибели — вот главное содержание мыслей, чувств, переживаний молодого студента. Вот почему по различным поводам, в разных вариантах он повторял одну и ту же мысль:

«Я несколько не подорожу жизнью,— пишет он 10 декабря 1848 г.,— для торжества своих убеждений, для торжества свободы, равенства, братства и довольства, уничтожения нищеты и порока, если только буду убежден, что мои убеждения справедливы и восторжествуют, и если уверен буду, что восторжествуют они, даже не пожалую, что не увижу дня торжества и царства их, и сладко будет умереть, а не горько, если только в этом буду убежден» (стр. 343).

А его мечты, его убеждения, его теоретические верования сводились к борьбе за такой строй, при котором не должно быть частной собственности на средства производства, не должно быть эксплуатации человека человеком, за строй, именуемый социализмом¹.

«Иду отдохнуть от чувств,— гласит одна из его записей,— спокойных, но слишком сильных. Это восторг, какой является у меня при мысли о будущем социальном порядке, при мысли о будущем равенстве и отрадной жизни людей — спокойный, сильный, никогда не ослабевающий восторг. Это не блеск молнии, это равно не волнующее сияние солнца. Это не знойный июльский день в Саратове, это вечная сладостная весна Хиоса» (стр. 637).

¹ Напоминаем читателю, что социализм в представлении Чернышевского, о котором он мечтал, был социализмом утопическим, крестьянским, народническим. — И. Ф.

Таково краткое, очень краткое содержание мыслей, записанных Чернышевским в дневнике, таких мыслей, которые как нельзя точнее определяют слова Ленина, что «от его сочинения веет духом классовой борьбы».

* * *

Второй том «Литературного наследия» состоит из пяти разделов: 1) письма Николая Гавриловича к родным за период с 1846 по 1862 г. (при чем одно письмо относится к 1838 г.); 2) письма к разным лицам за этот же период; 3) письма Чернышевского из Петропавловской крепости; 4) материалы к делу Чернышевского и его заявления властям из Петропавловской крепости за 1861—1862 гг. и 5) задержанные письма из Сибири (1864—1882 гг.) с приложением ряда документов, рисующих обстановку и условия жизни Чернышевского в Вилуйске и то неослабное внимание и всевозможные мелочные придирки, которые проявляли местные власти к заключенному.

В мае 1846 г. Чернышевский выехал из Саратова в Петербург для поступления в университет. С этого времени начинается его регулярная переписка со своими родителями, двоюродным братом А. Н. Пыпиным и др.

В письмах сын аккуратнейшим образом, вплоть до мельчайших деталей, сообщает отцу о ходе вступительных экзаменов и о своих впечатлениях, полученных им от университета и от первых занятий, дает характеристику своим профессорам, товарищам и т. д. Особо бросается в глаза тот факт, что научный мир Петербурга и прежде всего университет — этот «храм науки» — не вызвали в молодом Чернышевском какого-либо особенного восторга или преклонения. Ни метод занятий, ни те ученые премудрости, какими пичкались головы студентов, не могли в какой-либо мере удовлетворить Чернышевского, имевшего, как мы видели, не только исключительно большую и солидную доуниверситетскую подготовку, но и совсем иные умственные запросы. Вот почему не редко в письмах к отцу сын с горечью пишет, что «в университете, кроме вершков ничего не нахватается» (стр. 111).

Исключительный интерес к книгам, к библиотекам, к книжным магазинам проходит красной нитью во всей этой переписке. Просветительские черты, любовь к просвещенному Западу, ненависть к суеверной, безграмотной, некультурной России заметна и здесь, хотя, правда, мысли эти формулируются более «мягко» и «осторожно», поскольку была опасность их просмотра цензурой. Но иногда и здесь негодование прорывается наружу. «В самом деле, Саша, — пишет Чернышевский Пыпину, — посмотри, кто до сих пор из России является гением науки? Кончил курс и бросил, а любви к науке для науки, а не для аттестата ни в ком почти нет... Что до сих пор внесли русские своего в науку? Увы, ничего. Что внесла наука в жизнь русских? Тоже ничего; она еще молода-с, всего полтора века-с. Да ведь в XVII в. жили уже Декарт, Ньютон и Лейбниц, а это тоже было только через полтора же-с века-с по восстановлении наук... А? А мы-то что? Неужели наше призвание ограничивается тем, что мы имеем 1500 000 войска и можем, как гунны, как монголы, завоевать Европу, если захочем? Таково ли наше назначение? В таком случае лучше родиться гунном, Атиллою, Чингисханом, Тамирланом...» (стр. 43—44). И Чернышевский призывает брата отдать свою жизнь служению науки: «Решимся твердо, всю силою души, содействовать тому, чтобы прекратилась эта эпоха, в которую наука была чуждою жизни духовной нашей, чтобы они перестали быть чужим кафтаном, печальным безличьем обезьянства для нас» (стр. 44).

Многие письма содержат в себе политические новости, сообщавшиеся сыном отцу из столицы, касавшиеся перемен в правительственных сферах, мероприятий правительства в области внешней политики, особенно в связи с подготовкой, началом и концом Крымской войны, о предстоящем «освобождении» крестьян и т. д.

Много места в письмах уделяется размышлениям о своей дальнейшей судьбе по окончании университета. Николай Гаврилович всерьез намеревался посвятить себя научной карьере. В связи с этим любопытны письма, в которых рассказывается о мятарствах с подготовкой и защитой им своей магистерской диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности». В письме от 21 сентября 1853 г. сын сообщает отцу: «Диссертацию свою пишу об эстетике. Если она пройдет через универ-

ситет в настоящем своем виде, то будет оригинальна между прочим в том отношении, что в ней не будет ни одной цитаты, всего только одна ссылака. Если же найдут это не довольно ученым, то я прибавлю несколько со(т) цитат в три дня. По секрету можно сказать, что гг. здешние профессора словесности совершенно не занимались тем предметом, который взял я для своей диссертации, и потому едва ли увидят, какое отношение мои мысли имеют к общеизвестному образу мыслей об эстетических вопросах. Им показалось бы даже, что я приверженец тех философов, которых мнения оспариваю, если бы я не ска- зал об этом ясно. Поэтому я не думаю, чтобы у нас поняли, до какой степени важны те вопросы, которые я разбираю, если меня не принудят прямо объяснить этого. Вообще у нас очень затмилась понятия о философии с тех пор, как умерли или замолкли люди, понимавшие философию и следившие за нею» (Намек на эпоху Герцена и Белинского.— *И. Ф.*).

В другом месте Чернышевский пишет: «Во внешнем отношении она (диссертация.— *И. Ф.*) имеет ту особенность, что нет в ней ни одной цитаты наперекор общей замашке шарлатанить этой дешевой ученостью. К числу особенностей принадлежит и то, что она написана мною на бело, случай, едва ли бывавший с кем-нибудь» (стр. 252).

История с защитой диссертации затянулась на целых полтора года. Всякий интерес к ней у автора пропал. И когда наконец состоялась диспут, где диссертация была защищена хорошо и с успехом, Чернышевский сообщает отцу об этом без всякого внутреннего душевного подъема. «Закончился он (диспут.— *И. Ф.*) обыкновенным концом, т. е. поздравлениями, потому что диспут — чистая форма. Никитенко возражал мне очень умно, другие, в том числе Плетнев, ректор, очень глупо. Впрочем, и Никитенко повторял только те сомнения, которые приведены и уже опровергнуты в моем сочиненьишке... Одним словом, диспут мог для некоторых показаться оживленным, но в сущности был пуст, как я впрочем и предполагал. Не предполагал я только, чтобы он был пуст до такой степени» (стр. 256).

Но Чернышевский скоро от перспектив ученой карьеры должен был отказаться. Он уже вплотную занялся литературно-публицистической и политической деятельностью, став довольно быстро фактическим вождем и руководителем прогрессивной части журналистики, возглавляемой «Современником». Следует отметить, что в этих письмах к родным Николай Гаврилович почти совершенно не упоминает об этой своей литературно-политической деятельности, как и вообще мало распространяется о своих политических настроениях. Любопытно подчеркнуть следующий факт. По дневнику мы видели, как относился Чернышевский к аресту кружка Петрашевского. А в ответе к отцу, интересовавшемуся этим делом, сын в тоне полного безразличия сообщает, что о деле петрашевцев «никто почти не знает и того, было ли действительно что-нибудь, в чем бы можно было участвовать — большая часть думает, что кроме того, что собирались молодые люди, неосторожные на язык и напитанные чтением французских книг, и толковали о политике, едва ли что было... Вообще здесь об этом деле очень мало говорили, т. е. кроме тех, у кого были тут замешаны знакомые, никто и не говорил и не думал, потому что считали это все слишком пустым шумом».

Ясно, что Чернышевский оберегал покой своего отца, к которому, как ярко бросается в глаза в письмах, он питал исключительную любовь (см. например письмо от 9 ноября 1854 г., стр. 232). Желанием сохранить покой своего отца продиктованы и последние два письма Николая Гавриловича, написанные им накануне смерти отца. Рассказывая в письме от 3 октября 1861 г. о Петербурге, встревоженном разными слухами по поводу введения новых правил в университетах, когда «молва, по обыкновению щедрая на выдумки, приплела множество имен, совершенно посторонних делу», Чернышевский предупреждением утешает отца: «Подобные вздорные толки могут доходить и до Саратова. Я не упомянул бы о них, если бы не считал нужным предупредить Вас, чтобы Вы не беспокоились понапрасну... Нет надобности прибавлять, что я держал и держу себя совершенно в стороне от всяких столкновений, потому между прочим, что у меня нет свободного времени для траты на пустяки. Словом сказать, не тревожьтесь слухами о здешних происшествиях, будьте уверены, что до меня они нимало не касаются» (стр. 310—311).

Через несколько недель отец умер, а 7 июля 1862 г. Николай Гаврилович был взят в царский плен на 27 лет (включая сюда и жизнь в Астрахани, которая ведь тоже была ссылкой!), будучи навсегда изъят с общественно-политической арены..

Во втором разделе, состоящем из писем к разным лицам, особо заслуживают внимания своим содержанием и общественным значением письма к Зеленому, Некрасову и Добролюбову!

В пяти письмах к Зеленому, либерально настроенному псковскому помещику, живо интересовавшемуся крестьянским вопросом и горячо сочувствовавшему «Современнику», Чернышевский сообщает политические новости столицы, дает мимоходом характеристики знаменитостям литературного мира (Белинскому, Надеждину, Тургеневу, Островскому и т. д.), давая между прочим убийственный отзыв о славянофилах, которые, по словам Чернышевского, об ином «говорят так, что одна фраза кажется заимствованной из Прудона, а другая, за нею непосредственно следующая, из жития Симеона Столпника, а о другом так — что одна мысль из Белинского, а другая из Булгарина... Славянофил без чепухи жить не может» (стр. 330). Чернышевский убеждает Зеленого включиться в знаменитую в то время полемику об общинном землевладении, начатую Чернышевским со страниц «Современника». «У меня,— пишет Чернышевский,— тут есть разные цели — между прочим и те, которыми заняты Вы. Прямо говорить нельзя, будем говорить как бы о посторонних предметах, лишь бы связанных с идеею о преобразовании сельских отношений» (стр. 330). Чернышевский просит Зеленого выступить против выдвигаемых им положений, не щадя его мыслей и не стесняясь в выражениях, ибо «тут дело вовсе не в том, безошибочен ли я — я человек, не слишком много думающий о своих познаниях — мы все учились на медные деньги, — пусть я буду совершенно неправ и ничего не смыслю в этом деле — Россия от этого нисколько не потеряет. Но скажите, неужели невозможно сохранять принцип: «каждый земледелец должен быть землевладельцем, а не батраком, должен сам на себя, а не на арендатора или помещика работать» (стр. 333).

Из семи писем Чернышевского к Некрасову и пяти писем Некрасова к Чернышевскому мы не только узнаем роль Чернышевского в «Современнике» как настоящего руководителя журнала, но и его отношение к ряду знаменитостей тогдашнего литературного мира (Толстой, Щедрин, Фет, Григорович и др.) и прежде всего к поэзии самого Некрасова. Ленин в 1912 г. в статье «Еще один поход на демократию» писал, что «Некрасов колебался, будучи сам лично слабым, между Чернышевским и либералами, но все симпатии его были на стороне Чернышевского». Письма Чернышевского к Некрасову от 26 сентября и 5 ноября 1856 г. служат яркой иллюстрацией морального воздействия и дружеского убеждения со стороны Чернышевского на Некрасова, безусловно оказавших свое влияние в дальнейшей творческой эволюции Некрасова и в основном вероятно предопределивших поворот Некрасова именно к Чернышевскому, а не к либералам.

Чернышевский в течение всей своей жизни высоко ценил поэтический талант Некрасова:

«Такого поэта, как Вы,— пишет Чернышевский Некрасову,— у нас еще не было. Пушкин, Лермонтов, Кольцов как лирики не могут идти в сравнение с Вами... Не думайте, что я увлекаюсь в этом суждении Вашему тенденцию,— тенденция может быть хороша, а талант слаб, я это знаю не хуже других,— притом же я вовсе не исключительный поклонник тенденции,— это так кажется только потому, что я человек крайних мнений и нахожу иногда нужным защищать их против людей, не имеющих ровно никакого образа мыслей. Но я сам по опыту знаю, что убеждения не составляют еще всего в жизни — потребности сердца существуют, и в жизни сердца истинное горе или истинная радость для каждого из нас. Это и я знаю по опыту, знаю лучше других. Убеждения занимают наш ум только тогда, когда отдыхает сердце от своего горя или радости. Скажу даже, что лично для меня личные мои дела имеют более значения, нежели все мировые вопросы — не от мировых вопросов люди топчутся, стремятся, делаются пьяницами,— я испытал это и знаю, что поэзия сердца имеет такие же права, как и поэзия мысли,— лично для меня первая привлекательнее»

последней, и потому например лично на меня Ваши пьесы без тенденции производят сильнейшее впечатление, нежели пьесы с тенденциею.

«Когда из мрака заблуждения... Давно отвергнутый тобою... Я посетил твое кладбище... Ах, ты, страсть роковая, бесплодная...» и т. п. буквально заставляют меня рыдать, чего не в состоянии сделать никакая тенденция. Я пустился в откровенности, но только затем, чтобы сказать Вам, что я смотрю (лично я) на поэзию вовсе не исключительно с политической точки зрения. Напротив,—политика только насильно врывается в мое сердце, которое живет вовсе не ею или, по крайней мере, хотело бы жить не ею» (стр. 341).

Такой теплый и восторженный отзыв о поэзии Некрасова отчасти может быть объяснялся со стороны Чернышевского продолжительной хандрой Некрасова, теми ипохондрическими настроениями, тем душевным разладом, которыми был заражен поэт в то время¹. Но, повторяем, и позже в письмах из ссылки и в воспоминаниях, написанных Пыпину из Астрахани, Чернышевский всегда очень высоко ценил поэзию Некрасова:

Два письма к Тургеневу очень интересны как документы, характеризующие отношение Чернышевского к этому писателю в первый период их знакомства, т. е. еще до разрыва Тургенева с кружком «Современника», до перехода Тургенева в лагерь Дружинина и К°. Еще в письме к Некрасову Чернышевский пишет, что «оскорблен» обидою Тургенева, нанесенною последнему Катковым, более, нежели обидою, которая была бы нанесена ему самому: «Пусть бранят, кого хотят, но как осмелиться оскорблять Тургенева, который лучше всех нас и, каковы бы ни были его слабости (его излишняя доброта есть слабость), все-таки честнейший и благороднейший человек между всеми литераторами!» (стр. 348)!

Чернышевский в авторе «Записок охотника», «Муму», «Двух приятелей», «Затишья» видит пока союзника против Катковых, Дружининых и всячески хочет оторвать его от людей, мнениями которых Тургенев очень дорожил, т. е. от всех этих Дружининых, Дудышкиных, Боткиных с братиею, которые может быть и «прекрасные люди, но в делах искусства или в другом чем-нибудь подобном не смыслят... Ум этих людей быть может очень грациозен и тонок, но он слишком мелок» (стр. 358).

Повторяем, Чернышевский в это время еще не разгадал в лице Тургенева скрытого противника, единомышленника Дружинина, представителя либерально-дворянского крыла русской литературы. Впоследствии, и довольно скоро, Чернышевский резко переменял свой взгляд на Тургенева как на писателя и как на человека.

Тридцать писем Чернышевского к Добролюбову и шесть писем последнего к первому дают яркое представление о той страстной взаимной дружбе, какая существовала между этими самыми великими и замечательными людьми 60-х гг. Чернышевский не один раз писал, что он относился к Добролюбову, как к сыну или брату. Из всех опубликованных писем Чернышевского самое сильное впечатление производит письмо от 11 августа 1858 г., посланное Добролюбову за границу. В нем Николай Гаврилович между прочим писал:

«После Вашего рассказа мне остается только удивляться сходству основных черт в наших характерах, милый друг, Николай Александрович. В Вас я вижу как будто своего брата,—разница только в том, что те стороны характера, которые кажутся Вам дурными в Вас и которые действительно приносят Вам огорчения, ввязывая Вас в отношения тяжелые и неопределенные,—эти стороны во мне

¹ Впрочем и сам Чернышевский писал это письмо в очень подавленном состоянии, вызванном большими семейными неприятностями, переживаемыми им в это время. Именно отсюда его мимолетные рассуждения о том, что для него его личные дела имеют более значения, нежели все мировые вопросы», что «политика только насильно врывается в его сердце» и т. д., — рассуждения, опровергаемые решительно всей его деятельностью.

Слова же Чернышевского о том, что в художественной литературе он вовсе «не исключительный поклонник тенденций», что он смотрит на поэзию «вовсе не исключительно с политической точки зрения» только лишний раз подтверждают всю беспочвенность легенды буржуазной историографии об его голом просветительстве и примитивном утилитаризме.

еще сильнее развиты, нежели в Вас. Таким образом я, если должен быть Вашим судьей, могу чувствовать только одно: все дурное, что сделали Вы, сделал бы я и постыдно делаю нечто подобное,— зато на многое хорошее, которое тут же Вы делали, недоставало бы у меня характера. Я могу только сказать, что каковы бы ни были Вы, Вы все-таки гораздо лучше меня. А если, как я Вам говорил, я не лишен некоторого уважения к себе, то тем менее могу считать основательным Ваше самопрезрение; это временный порыв чувств, которое уступит место в Вас более справедливому мнению о Вашем нравственном достоинстве.

Мы с Вами, сколько теперь знаю Вас, люди, в которых великодушия или благородства или героизма или чего-то такого гораздо больше, нежели требует натура. Потому мы берем на себя роли, которые выше натуральной силы человека, становимся ангелами, христами и т. д. Разумеется, что ненатуральная роль не может быть выдержана, и мы беспрестанно сбиваемся с нее и опять лезем вверх,—точно певец, который запел слишком высокую арию,—то берет он ноты, недостижимые для других певцов, то кричит, пищит, в результате выходит, что он поет фальшиво,—смеетесь над фальшивыми нотами, но не забывайте, что он вместе с ними берет и другие, которые заслуживают аплодисментов:

Если бы я хотел Вам исповедываться, я рассказал бы Вам о себе подвиги более гнусные, нежели все то, что Вы рассказываете о себе. Поверьте мне на слово,—или прочтите *Confessions* Руссо, там рассказывается многое из моей жизни, но далеко не все. А все-таки, повторяю, я человек хороший,—а Вы лучше меня, в этом убежден, как $2 \times 2 = 4$. Чорт с ними, с подлостями,—мы люди, мы не можем быть, подобно мифическим существам наших Четь-Миней, без слабостей. А все-таки мы очень хорошие люди. Будем принимать себя такими, как мы есть,—поверьте, мы все-таки лучше 99 из ста людей. О чем же горевать? «Зацепил — поволок, сорвалось — не спрашивай», по пословице иначе сказать: мы всегда с Вами хотим поступать хорошо — удалось поступить хорошо в самом деле — ну, благодари себя за это, не удалось — я утешаюсь тем, что в сущности хотел хорошего, — вышла гадость, ну, чорт с нею, я не хочу и помнить о ней» (стр. 363—364).

Заслуживает не меньшего внимания и интереса письмо Чернышевского к Добролюбову, написанное во время его поездки в Лондон (в июне 1859 г.) к Герцену с целью объяснения с последним по поводу напечатания им статьи в «Колоколе» с инсинуациями по адресу «Современника» (т. е. по адресу прежде всего Чернышевского и Добролюбова).

«Оставаться здесь долее было бы скучно. Разумеется, я ездил не понапрасну, но если бы знал, что это дело так скучно, не взялся бы за него... Но боже мой, по делу надобно вести какие разговоры. Не хочу писать... Но если хотите вперед узнать мое впечатление, попросите Николая Алексеевича (Некрасова.— *И. Ф.*), чтобы он откровенно высказал свое мнение о моих теперешних собеседниках (Герцен, Огарев.— *И. Ф.*) и поверьте тому, что он скажет. Он ошибается разве в одном: скажет все-таки что-нибудь лучшее, нежели сказал бы я об этом предмете. Кавелин в квадрате — вот Вам все» (стр. 365—366).

Через 29 лет, живя уже в Астрахани, совершенно по другому поводу, в письме к К. Т. Солдатенкову, Чернышевский бросает фразу, имеющую непосредственное отношение к поездке в Лондон. «Вы знаете, какой у меня характер на самом деле? Я мягок, деликатен, уступчив — пока мне нравится забавляться этим. Но женщине ли держать меня в руках? Я ломаю каждого, кому вздумаю память ребра. Я медведь. Я ломал людей, ломавших все и всех, до чего и до кого дотронутся. Я ломал Герцена (я ездил к нему дать ему выговор за нападение на Добролюбова, и он вертелся передо мной, как школьник); я ломал Некрасова, который был много покрепче Герцена» (т. III, стр. 349).

Преждевременная смерть Добролюбова потрясла Чернышевского. 10 февраля 1862 г. Чернышевский, сообщая близкой знакомой Добролюбова Т. К. Гринвальд о его смерти, прибавляет: «Когда увидимся с Вами, поцелуемся и поплачем вместе о нашем друге... Вот уже редкий день проходит у меня без слез... Я тоже полезный человек, но лучше бы я умер, чем он... Лучшего своего защитника потерял в нем русский народ» (стр. 395):

В конце этого раздела, в «Приложении», помещено замечательное письмо «русского человека», которое было послано Герцену и опубликовано последним в «Колоколе» в марте 1860 г. А. Слепцов, видный член тайного общества первой «Земля и Воля», категорически свидетельствует в своих воспоминаниях: «Писано Н. Г. Чернышевским и прочитано мне до отправления к Герцену». Большинство современных исследователей Чернышевского сходятся также на мысли, что это письмо написано Чернышевским. И по образу мыслей, и по стилю, и по занимаемой Чернышевским позиции во время так называемых «крестьянских реформ» видно, что это письмо принадлежит перу именно Чернышевского, и только одна редакция тома как-то невразумительно оспаривает это. В этом письме, издеваясь над всеми,—в том числе и над собою,—что «после издания рескриптов (Александра II об отмене крепостного права.—И. Ф.) все очутились в чаду, как будто дело кончено, крестьяне свободны и с землей... забывши, что дело крестьян вручено помещикам»; беспощадно бичуя либералов за то, что в момент, когда крестьян «помещики тиранят теперь с каким-то особенным ожесточением» и «крестьяне готовы взяться за топоры», «либералы проповедают в эту пору умеренность и исторический постепенный прогресс», Чернышевский заканчивает письмо призывом к Герцену:

«Нет, наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не поможет! Эту мысль вам кажется высказывали, и оно удивительно верно,—другого спасения нет. Вы все сделали, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела, перемените же тон, и пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит набат! К топору зовите Русь.—Прощайте и помните, что сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей. Не вам ее поддерживать» (стр. 408. Подчеркнуто автором.—И. Ф.).

Из третьего раздела, включающего письма Чернышевского из Петропавловской крепости, особо выделяется знаменитое письмо от 5 октября 1862 г., к содержанию и тону которого придиралась следственная комиссия, обвиняя Чернышевского в самомнении и самовозвеличении. В этом письме Чернышевский успокаивает свою жену, умоляет ее не унывать, не тосковать, быть спокойной и сохранить твердость характера.

«Скажу тебе одно,—пишет он,—наша с тобой жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, и наши имена все еще будут милы людям; и будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами. Так надобно же нам не уронить себя со стороны бодрости характера перед людьми, которые будут изучать нашу жизнь» (стр. 411).

Дальше он излагает перед женой перспективы своей научной деятельности по выходе из крепости. Согласно этого плана, Чернышевский собирался приняться за многотомную «Историю материальной и умственной жизни человечества», а затем за многотомный «критический словарь идей и фактов», основанный на этой истории, и ряд других серьезных работ, предназначенных для широких масс всего мира. «Чепуха в голове у людей, потому они и бедны, и жалки, злы и несчастны; надобно разъяснить им, в чем истина и как следует им думать и жить. Со времени Аристотеля не было сделано еще никем того, что я хочу сделать, и буду я добрым учителем людей в течение веков, как был Аристотель» (стр. 412). Прося жену держать этот его план пока в секрете, он юговаривается, что сообщил ей все это для того, чтобы она видела, «как далек я от всякого уныния,—о, нет, мой друг, редко когда бывал я так спокоен и доволен, как в это время» (стр. 412).

Должно быть отмечено также письмо к жене от 7 июля 1862 г., в котором, успокаивая жену относительно своей судьбы, заверяя ее, что против него улик не было, нет и не будет, что он арестован совершенно напрасно и потому скоро будет освобожден на волю, Чернышевский издевается над политической полицией, не умеющей, по его мнению, чисто и аккуратно исполнять своих прямых обязанностей. Веря ложным слухам и всяким вздорам, политическая полиция арест-то его произвела, а конкретных обвинений не оказалось. Теперь полиция непроч была бы извиниться перед ним и выпустить его, но боится, что Чернышевский не примет извинений и в свою очередь предъявит ей важное обвинение, поставив ее в положение обвиняемой перед правительством. Любопытно, что в деле Чернышевского сохранилась следующая жарган-

дашная записка начальника III Отделения Потапова: «Копия с довольно любопытного письма Чернышевского к его жене, удержанного комиссией, но он ошибается: извиняться никому не придется» (стр. 416).

Известно, что потребовался примерно годичный срок на фабрикацию фальшивок, чтобы на основании их сослать Чернышевского на каторгу.

Из четвертого раздела, состоящего из материалов к делу Чернышевского и его заявлений властям из Петропавловской крепости, в первую очередь должны быть упомянуты анонимное письмо к Чернышевскому, относящееся к концу 1861 г., и два анонимных письма с донесением на него же начальнику III Отделения.

В анонимном письме самому Чернышевскому писалось: «Неужели мы не видим Вас с ножом в руках, в крови по локоть? Неужели мы можем сочувствовать заклятым социалистам (направление Вашего журнала нам понятно, да и «Великорусс» — Ваше произведение), которые ищут и будут искать нашей погибели, которые с маратовским восторгом принесут в жертву, для осуществления своих бредней, наши имущества, нас самих, наши семейства? Вы думаете, что мы настолько просты, что будем жертвовать собой ради социализма, признанного наукой несчастным произведением большого ума... Кого вы презираете? Лучшее сословие в России, дворянство. На кого Вы надеетесь? На полудикое сословие, мужиков, людей, религия которых заключается в одной еде и гимнастических упражнениях. Вы хотите безусловной демократии... Кого же Вы пугаете? Ха, ха, ха!.. Мы люди благородные и потому бесстрашно встретим смерть, защищая права законные, несомненные... Нас много... Теперь мы настороже, и, поверьте, не станем с Вами нежничать... Считаем не лишним заметить Вам, господин Чернышевский, что мы не желаем видеть на престоле какого-нибудь Антона Петрова, и если действительно произойдет кровавое волнение, то мы найдем Вас... или кого-нибудь из Вашего семейства, и, вероятно, Вы не успеете запастись телохранителем» (стр. 432—434).

А другой автор в июне 1862 г., за несколько недель до ареста Чернышевского, писал начальнику царской тайной полиции:

«Благонамеренной литературе давайте ход. Не тесните: это хуже, но Чернышевского с братиею, с «Современником» уничтожьте. Не по чувству личной вражды — я его не знаю, а по чувству самосохранения твержу вам: избавьте нас от Чернышевского и его учения. Это враг общества, и враг опасный — опаснее Герцена. От домашнего вора не упасешься, так и с ним: он осторожен, хитер и зол. Прислушайтесь к толкам ученого кружка, все того мнения, что я говорю, что я вынес из бесед с учеными, где верчусь иногда» (стр. 434).

А ровно через неделю после ареста Чернышевского тот же адресат писал тому же начальнику тайной полиции: «Спасибо вам... что засадили Чернышевского. Спасибо от многих. Только не выпускайте лисицу, пошлите его в Солигалич, Яренск, что-нибудь в этом роде. Это опасный господин, много юношей сгубил он своим ядовитым влиянием» (стр. 436).

Эти три письма свидетельствуют не только о классовой сознательности врагов Чернышевского, не только о напряженности классовой борьбы во время реформ, но и служат показателем того, насколько господствующая клика понимала роль и значение Чернышевского как идеолога и вождя народной крестьянской революции.

В пятом разделе, содержащем задержанные письма из Сибири, заслуживают особого внимания письма к сыновьям, в которых отец излагает основные вопросы человеческого знания и ставит вопрос о применении философии к естествознанию, исходя из своих философских воззрений. Чернышевский в на редкость резкой, язвительной форме разносит идеалистическую философию, оказывавшую отрицательное влияние на развитие точных наук. Особенно он обрушивается на представителей нового направления в математике и астрономии, которые слишком пусто и в то же время самонадеянно «философствуют», не имея абсолютно никакого понятия о самой философии или заимствуя свою аргументацию из философии Канта.

Со всей беспощадностью, свойственной большому логическому и страстному уму, Чернышевский вскрывает и разоблачает идеалистические корни кантовской философии, издаваясь над идеей непознаваемости «вещи в себе» и нереальности объективного мира.



Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

С фотографии (1882 г.), хранящейся в Государственном Музее Революции СССР

«Система Канта,— пишет он,— галиматъя; галиматъя, слепленная гениальным человеком громадной силы; галиматъя гениальная, но совершенно вздорная галиматъя... Система Канта — мелкотравчатая, трусливая система» (стр. 482—483). Давая такую резкую оценку философской системе Канта, он одновременно защищает эту систему от тех извращений и фальсификаций, каким она подвергалась со стороны ученых типа Гельмгольца. Как бы ведя диалог с последним, Чернышевский в письме от 18 марта 1878 г. пишет:

«Душенька, ни математику, ни вообще натуралисту непозволительно «смотреть» ни на что «вместе с Кантом». Кант отрицает все естествознание, отрицает и реальность чистой математики. Душенька, Кант плачет на все, чем ты занимаешься, и на тебя. Не компаньон тебе Кант. И уж был ты прихлопнут им, прежде чем вспомнил о нем. Это он вбил в твою деревянную голову то, с чего ты начал свою песнь победы,— он вбил в твою голову это отрицание самобытной научной истины в аксиомах геометрии. И тебе ли, простофиле, толковать о «трансцендентально данных формах интуиции» — это идеи, непостижимые с твоей деревенской точки зрения. Эти формы придуманы Кантом для того, чтобы отстоять свободу воли, бессмертие души, существование бога, промысл божий о благе людей на земле и о вечном блаженстве их в будущей жизни, — чтобы отстоять эти дорогие сердцу его убеждения от кого? — собственно от Дидро и его друзей; вот о чем думал Кант. И для этого он изломал все, на чем опирался Дидро со своими друзьями. Дидро опирался на естествознание, на математику,— у Канта не дрогнула рука разбить вдребезги все естествознание, разбить в прах все формулы математики: — не дрогнула у него рука на это, хоть сам он был натуралист — получше тебя, милашка, и математик — получше твоего Гауса» (стр. 499—500).

Так раздвигаясь с философской доктриной Канта и современным ему эпигонством, Чернышевский противопоставляет им свою точку зрения, исходя из основ философии Фейербаха: «Моя точка зрения на это? — точка зрения Лаланда и Лапласа, — точка зрения Людвига Фейербаха» (стр. 500).

Недаром Ленин считал, что «Чернышевский — единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х гг. вплоть до 1888 г. остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантовцев, позитивистов, махистов и прочих путаников. Но Чернышевский не сумел, вернее не мог, в силу отсталости русской жизни, подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса».

Таково краткое содержание второго тома.

Переходим к третьему тому.

* * *

1 марта 1881 г. бомбой народовольца Григезицкого был убит Александр II. Придворная клика, желая, чтобы акт восшествия на престол Александра III прошел благополучно, вступила в переговоры с руководством «Народной Воли», от террористической деятельности которой черносотенцы приходили в ужас и ожидали в дни коронации всяческих неприятностей. Исполнительный комитет народовольцев в числе требований, предъявленных господствующей камарилье, выставил и требование о возвращении из Сибири Чернышевского. Хотя соглашения и не состоялось, но, поскольку коронация прошла благополучно, самодержавное правительство решило «расщедриться» и по ходатайству ссыновей Чернышевского позволило последнему возвратиться из Сибири, разрешив поселиться не в столице и даже не в родном Саратове, а только в Астрахани, т. е. фактически в замаскированной форме одно место ссылки было заменено другим.

В основу третьего тома и легло собрание писем Чернышевского за этот период его жизни. Кроме 518 писем самого Чернышевского в этот том включены также письма к нему его жены, А. Н. Пыпина, Захарьина, Солдатенкова, Барышева-Мясницкого, Короленко, Гольцева, Панаевой, Маркович, Антоновича и других, рисующие не только историческую и бытовую обстановку деятельности и жизни Чернышевского, но и имеющие самостоятельный культурно-исторический интерес.

Понятно, для нас наиболее интересен и важен первый отдел тома, состоящий из писем самого Н. Г. Чернышевского.

По переписке Чернышевского в астраханский период его жизни современный читатель может отчетливо представить себе ту потрясающую картину уточненных нравственных пыток, каким подвергался наш величайший мыслитель и революционер не только со стороны царского правительства, но и со стороны псевдо-прогрессивных, либеральных и либерально-народнических журналов, газет и издательств вроде «Вестника Европы», «Русских Ведомостей» и «Русской Мысли», возглавляемых всеми этими Стасюлевичами, Гольцевыми, Чупровыми и т. д. и т. п.

За последнее время некоторые исследователи правильно заостряют вопрос на том, что историкам-марксистам надо разоблачить существовавшую и пока еще существующую легенду, что будто бы Чернышевский возвратился из ссылки разбитым человеком, с психическим надломом, умственно ослабленным и отставшим, совершенно будто бы не способным к серьезной теоретической и литературно-публицистической деятельности. Эта подлая легенда, созданная либеральным народничеством и буржуазным либерализмом 80-х гг., понадобилась последним для того, чтобы, с одной стороны, прикрыть и оправдать собственное политическое и моральное ничтожество, а с другой — преградить Чернышевскому дорогу к научно-литературной работе в своих журналах и газетах, которые по своему идейно-политическому уровню, по сравнению с уровнем мировоззрения Чернышевского, были очень низкими, действуя «применительно к подлости». Чернышевский и после возвращения из ссылки был энциклопедистом своего времени, на несколько голов по своим умственным способностям и знаниям превосходящим своих современников.

Все письма Чернышевского, вошедшие в этот том, почти от первого до последнего, служат ярким опровержением этой возмутительной легенды. В первом же письме к А. Н. Пыпину, на другой день по приезде из Сибири в Астрахань, от 22 октября 1883 г., написанном очень неровным дрожащим почерком, указывающим на сильную взволнованность Николая Гавриловича, последний уведомляет брата: «Что буду писать, уведомлю после. Знай только, что я еще сохранил способность по целым месяцам работать изо дня в день, с утра до ночи, не утомляясь. Вообще я физически сохранился очень хорошо и не замечаю в себе никакой важной умственной и нравственной перемены с той давней поры, как ты выдвигал меня лично» (стр. 3). На все советы Пыпина отдохнуть, не торопиться работать, успокоить свои нервы, Чернышевский отвечал: «Ты думаешь, что мое здоровье хило, что я должен жить в праздности, потому что работа убьет меня: мой друг, это лишь напрасные опасения, внушаемые тебе любовью ко мне. Я желал бы, чтобы твое здоровье было хоть наполовину столько прочно, как мое» (стр. 82). А в письме к тому же Пыпину от 19 ноября 1883 г., еще раз со всею резкостью подчеркивая, что он себя чувствует здоровым и работоспособным, продолжает: «...Работаю, мой милый. Но недоволен тем, что работаю менее быстро, чем следовало бы. Так это и будет, пока получу сведения, которых жду» (стр. 10—11)!

А «сведения», которых он ждал, касались вопроса о возможности для него литературной деятельности, разрешения от правительства печататься в легальных органах.

Большое стремление к литературной деятельности вызывалось не только тем, что Чернышевский приехал с большим, еще в Петропавловской крепости и в Сибири продуманным планом своей научной деятельности, но и большой материальной нуждой, которую ему и его семейству приходилось испытывать. Большой сам, больная жена, психически больной сын, большие долги Пыпину и другим, накопившиеся за двадцатилетний период пребывания его в крепости, на каторге и в ссылке, — все эти обстоятельства требовали денег, денег и еще раз денег.

А деньги могли быть только от его литературной деятельности. Но первые же его попытки начать эту деятельность натолкнулись на сообщение, что запрет на его литературную деятельность, действовавший со времени его отправки в Сибирь, еще не снят. Его жена, Ольга Сократовна, сообщает, что Николай Гаврилович — этот человек с канатными нервами, негибимой волей и стальным сердцем — буквально плакал, когда узнал об этом известии. Жажда кипучей деятельности после двадцати

летней безработицы (выражение самого Чернышевского) и невозможность ее проявления, нищенское состояние семьи, полная бесперспективность в смысле выхода из этого состояния — вот картина первого этапа астраханской жизни Чернышевского. Эта картина дополнялась той средой мелочных, пустых, невежественных обывателей, которая ежедневно окружала Чернышевского. Рыбопромышленники и монашки, мелкие астраханские чиновники и продавцы бакалейных товаров, домохозяйки и всякий обывательский сброд были постоянным его окружением. «Я житель того самого острова, — пишет он Пыпину, — на котором благодушествовал некогда Робинзон Крузо со своим другом Пятницей. Я не лишен нежных приятностей дружбы. Но все здешние друзья мои — Пятницы... мы толкуем о том, хорош ли улов рыбы, выгодны ли для рыбопромышленников цены на нее, сколько привезено хлопка и фруктов из Персии, уплатит ли по своим векселям Сурабеков или Усейнов» (стр. 295).

Поэтому будет неудивительным встретить иногда в письмах жены Чернышевского такие строки: «Наш Н. Г. сильно хандрит (иногда замечаю, что и плачет). Работы никакой нет!» «Слава богу! — пишет в другом письме она же. — Саша приехал к нам, и теперь отцу его не так будет скучно. А то, глядя на него, у меня вся душа изныла. И какой он стал нервный, раздражительный — страх!» (стр. 37). В письме к сыну Николаю Гаврилович со своей стороны просит «тех, кому случается думать обо мне с расположением... выбросить из головы заботы о моих расстроенных нервах и моей дряхлости и т. д. Все эти фантазии очень милы. Но благодаря им я целые два месяца оставался без работы, и пока они не будут отброшены Вами, мои друзья, я буду оставаться нищим» (стр. 45).

Но вот наступает период в жизни Чернышевского, когда в результате хлопот его близких друзей, особенно Захарьина, запрет на литературную деятельность был «снят». Но это снятие произошло на таких условиях, которые на деле не давали возможности вести какую-нибудь серьезную научно-литературную работу. «Вопрос о праве Ваших занятий в печати, — пишет Захарьин Чернышевскому, — вчера выяснился. Работать можете, присылая все написанное ко мне на мое имя, а я уж от себя буду представлять присланное в цензуру. Статьи Ваши будут появляться под псевдонимом, а под каким — сейчас сказать не могу, боясь, что настоящее письмо может как-нибудь затеряться и быть прочтено посторонним лицом, не склонным к молчанию... Главным условием поставлено, чтобы появление Ваших статей не было встречено какими-нибудь неразумными писателями излишней болтовней или овациями и чтобы псевдоним не был разоблачен. Хотя последнее и трудно, но будем стараться о молчании и предупреждать о сем других» (стр. 573).

Ясно, что при таких драконовских ограничениях Чернышевскому не приходилось надеяться на выполнение своих больших научно-литературных замыслов. Но поскольку иного выхода не предвиделось, ему ничего не оставалось делать, как пробовать писать отдельные статьи научного, а также и беллетристического содержания, в то же время резко заявляя всякому, кому следовало знать, что он не намерен продавать свои принципы, не расположен приспособляться к существующим порядкам, не намерен к концу своей жизни потерять свое политическое лицо. Когда ему однажды наметнули, что хотели бы заполучить его рецензию на книжку одного автора (Роменса), при чем, заранее, по заказу, панегирического характера, Чернышевский коротко, но ясно и недвусмысленно заявляет: «Писать панегирик по заказу — это не совсем сообразно с моим характером; потому я для этого не гожусь» (стр. 55).

В письме к Захарьину от 19 февраля 1885 г. Чернышевский пишет: «Из Вашего письма вижу, что мои философские статьи не годятся для «Вестника Европы». Я нимало не в претензии. Я не принадлежу к школе, в духе которой пишет философ «Вестника Европы» Кавелин: быть может в моей статейке, принять которую отказался Стасюлевич, есть что-нибудь слишком ясно несообразное с какими-нибудь мыслями Кавелина (статьи которого никогда не были читаемы мной)» (стр. 106—107).

Такой образ мыслей и такой метод поведения не могли импонировать трусливой, своекорыстной, приспособленческой либеральной и народной журналистике. Делая вид, что они возмущены учиненной расправой правительства над Чернышевским,

руководители этих органов печати со своей стороны не только не предоставляли страниц своих органов для Чернышевского, но даже наоборот: делали все возможное, чтобы или не дать ему работы или очернить даже ту, какую он продельвал независимо от них. 26 декабря 1888 г. в письме к К. Т. Солдатенкову Чернышевский писал: «Издатель и редактор «Вестника Европы» Стасюлевич принадлежит к числу людей, считающих меня простым крикуном, не вполне честным. Когда я, возвратившись из отдаления в Россию и не имея никаких средств к жизни, просил у него работы, он отказал мне».

Любопытно и другое письмо Чернышевского, по которому видно, с каким заслуженным высокомерным презрением относился он ко всей этой журнальной братии. Мы имеем в виду письма к В. А. Гольцеву и к В. М. Лаврову. Чернышевский посылает свою статью «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь» в редакцию «Русской Мысли», редактируемой Гольцевым. Сначала в редакции были колебания, поместить ли ее. Потом все же статья была опубликована с редакционным примечанием, которое вызвало со стороны Чернышевского не только, по его выражению, «досаду», но и предъявление ультиматума: «Я не могу допустить, чтобы журнал, в который я посылаю статьи, брал на себя суд о их содержании» (стр. 302). А в письме к издателю «Русской Мысли» В. М. Лаврову Чернышевский, также напоминая об этом редакционном примечании, еще резче ставит вопрос: «Вам показалось, что я такой сотрудник, как другие, которые представляют свои произведения на оценку редакции. Вы взялись судить, следует ли или не следует напечатать статью, присланную мною. Этого я допустить не могу. Никакого и ничьего кроме цензурного посредничества между мною и типографией я не допускаю... Но если вы не считаете возможным отправить, не читая сами... в типографию присылаемое мною, то мое сотрудничество невозможно. Да или нет — я прошу Вас сказать просто: «да» или «нет». Никаких оговорок я не допускаю» (стр. 359—360).

В самом деле, как же назвать поведение либеральной и народнической журналистики, как не соучастием в политическом и физическом умерщвлении Чернышевского, когда перед гигантом мысли они закрыли двери своих газет, журналов и издательств?!¹

Большую часть своего времени за последние шесть лет своей жизни Чернышевский провел за переводами Шрадера, Спенсера, «Всеобщей истории» Вебера и т. д. Особенно много трудов Николай Гаврилович потратил на последний перевод: всего с 1885 г. по 1889 г. Чернышевским было переведено 11½ томов. Из писем Чернышевского видно, что он лично смотрел на предпринятое Солдатенковым издание этой веберовской «Истории» лишь как на форму замаскированной материальной помощи ему, переводчику. Чернышевский все время мучился, что получаемый им гонорар есть замаскированная благотворительность со стороны Солдатенкова, ибо, по мнению Чернышевского, «История» Вебера настолько имела низкий научный уровень, что переведенные им тома Вебера будут обречены заполнять подвалы книжных складов Солдатенкова. «Я перевожу книгу, положительно не нравящуюся мне; я теряю время на переводческую работу (по 10—15 часов в сутки в течение 4 лет.— И. Ф.), неприличную для человека моей учености — скажу без ложной скромности — умственных сил... Книга Вебера — добросовестная компиляция, составленная человеком, не знающим того, что он переписывает — из монографий. С ученой точки зрения книга Вебера — дрянь» (стр. 333, 400).

¹ За пределами этой журналистики существовала только пресса Сувориных и Катков. А как он относился к этой прессе, лучше всего видно по ответу, какой он дал на вопрос, знаком ли он с ней. «Не читал (газету Суворина.— И. Ф.) и не имею желания пополнить этот пробел моих литературных впечатлений, держась того же правила, каким руководился Чацкий, кажется:

Я глупостей не чтец,
А пуще образцовых.

Если ты скажешь, что в этой цитате слово «глупостей» надобно заменить словом «мерзостей», не противоречу... Какое же нам дело до пошлостей Суворина, или хотя бы тех трактирщиков, половыми у которых служат Суворины и компания?» (стр. 295).

Правда, у Чернышевского, когда он приступал к переводу, кроме материальной заинтересованности была и другая цель:

«Книжка Вебера — дрянная... Мне хотелось бы, пользуясь именем Вебера для устранения с обертки моего непригодного к печати имени, написать новый мой рассказ о всеобщей истории» (стр. 400). «Я не имею права выставлять на моих книгах мою фамилию. Имя Вебера должно было служить прикрытием для трактата о всеобщей истории, истинным автором которого был бы я. Зная размер своих ученых сил, я рассчитывал, что мой трактат будет переведен на немецкий, французский и английский языки и займет почетное место в каждой из литератур передовых наций» (стр. 333).

Но этим замыслам переводчика не удалось осуществиться, ибо издатель не мог не считаться с либеральным общественным мнением, которое в лице того же «Вестника Европы» упрекало переводчика в непочтительной попытке «очистить» Вебера.

Отношение к переводным работам других авторов было еще отрицательнее. Так например, окончив перевод книг Карпентера и Шрадера, Чернышевский в письме к Ю. П. Пыпину пишет: «Прошу лишь о двух вещах: 1) ни на книжке Карпентера, ни на книжке Шрадера не выставлять моего имени; 2) прошу Сашеньку сказать издателю, что я не желаю иметь экземпляров этих переводов, мне совестно и думать об этих моих работах, особенно о второй, о работе над Шрадером, которую сделал я лишь по праву нищего получить деньги задаром, в убыток дающему их благотворителю. Разумеется, когда я буду иметь возможность, возвращу издателю деньги и выражу ему мою благодарность за то, что он подавал милостыню нищему» (стр. 52).

Чернышевский с исключительным вниманием следил за иностранной литературой. В письме Пыпину Николай Гаврилович пишет: «Ты спрашиваешь, получаю ли я иностранные журналы. Получаю (идет перечисление трех журналов.— И. Ф.)... Читаю их от первого объявления до последнего, все, все сплошь» (стр. 101—102). Следя за иностранной жизнью и научной мыслью Запада, всячески интересуясь ею, Чернышевский одновременно, даже при огромных материальных лишениях, избегал писать о русских делах, о русской науке и литературе. В письме к Пыпину от 19 декабря 1884 г. он пишет:

«Захочу ли я написать об Островском? И согласны ли мои мысли о нем с уважением журналистов к нему? Согласны. Об Островском я думаю с большим уважением, но — я не имел бы особенной охоты писать о чем бы то ни было из русской жизни. Я предпочитал бы писать о вопросах или чисто научных, или по крайней мере не имеющих отношения к специально русским житейским вещам. Признаться ли? Собственно русская жизнь довольно мало интересует меня. И рассуждать о русской литературе мне скучно» (стр. 89).

Из других писем Чернышевского отметим его письмо к Пыпину от 9 декабря 1883 г. Пыпин сделал предложение Чернышевскому написать ему воспоминания о знаменитостях 60-х гг., с какими приходилось сталкиваться Чернышевскому, с присовокуплением просьбы: писать это, когда будут складываться воспоминания спокойные, нимало не волнуя и не раздражая Чернышевского. Последний на это отвечает:

«Мой милый, я не считаю возможным, чтобы воспоминания о Тургеневе и остальной компании заключали в себе что-нибудь способное навевать на меня какое-нибудь настроение духа, кроме склонности задремать. А, по-твоему, они могут «волновать» или «раздражать» меня. Что-нибудь одно: или ты имеешь очень фантастические представления обо мне, или я совершенно ошибаюсь в своих понятиях о том, чем я интересуюсь и чем вовсе не интересуюсь. Те люди были просто-напросто не интересны мне, и в воспоминаниях моих об этих — впрочем или милейших или очень почтенных людях — нет ровно ничего интересующего меня... Попросив меня не волноваться и не раздражаться, ты продолжаешь, что «был бы рад, если бы это» — мои воспоминания о Тургеневе и всей компании — «писалось в духе простого добродушия». Увы, мой друг, едва ли я доставляю тебе радость находить, что я пишу в духе добродушия. Писать я буду в духе скучающего, писать о том, что нимало не интересует его. А дух скуки, я полагаю, очень близок к духу добродушия, и если разнится от него чем, то разве тем, что уж чрезмерно краток; это ультрадобродушие, или, пользуясь

гоголевским термином, это — «добродушие-матрадура, то-есть двойное добродушие». На деле это, кроме шуток, будет совершенно добродушно» (стр. 28—29).

Второй отдел тома и содержит литературно-политические воспоминания Чернышевского о Некрасове, воспоминания об отношениях Тургенева к Добролюбову и о разрыве дружбы между Тургеневым и Некрасовым, воспоминания о начале знакомства с Н. А. Добролюбовым, заметки по поводу «Автобиографии Н. И. Костомарова», воспоминания о свиданиях с Достоевским и др. Из воспоминаний о Некрасове интересно сообщение Чернышевского о том, как первый воспринял манифест 19 февраля 1861 г. (стр. 490).

В воспоминаниях о Тургеневе, в которых, кстати сказать, нарисованный Чернышевским портрет Тургенева как человека во многом совпадает с характеристикой, данной ему Панаевой в своих «Воспоминаниях», очень интересны сведения о процессе создания Тургеневым «Рудина» (стр. 478—489).

*они тогда идут вон из Москвы, а все от Москвы. Но эти же самые друзья, они тогда
не расходятся, они тогда идут куда-то, куда-то, куда-то, куда-то, куда-то, куда-то, куда-то, куда-то
куда-то, куда-то, куда-то, куда-то, куда-то, куда-то, куда-то, куда-то*

(А если бы не было, то бы было, то бы было, то бы было, то бы было, то бы было, то бы было, то бы было)

Но знаешь, ты знаешь, что Кирьяков был из Москвы, из Москвы, из Москвы, из Москвы, из Москвы, из Москвы, из Москвы, из Москвы

и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве

А тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве

и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве

и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве

и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве

и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве, и тогда Тургенев был в Москве

ИЗ ПИСЬМА Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО К К. М. СОЛДАТЕНКОВУ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 1838 Г.

Из архива Дома им. Чернышевского в Саратове

Не менее интересны сведения и соображения Чернышевского о том, как Тургенев безуспешно пытался в «Отцах и детях» изобразить Добролюбова в злостной картине Базарова (стр. 447, 480).

В заключение остановимся на том любовном отношении, какое питал Добролюбов к Чернышевскому. В письме своему товарищу Турчанинову от 1 августа 1856 г. Добролюбов пишет:

«С Ник. Гавр. я обближаюсь все более и все более научаюсь ценить его. Я готов бы был исписать несколько листов похвалами ему, если бы не знал, что ты столько же, как и я (более нельзя), уважаешь его достоинства, зная их конечно еще лучше моего. Я нарочно начинаю говорить о нем в конце письма, потому что знал, что если бы я с него начал, то уже в письме ничему, кроме него, не нашлось бы места. Знаешь ли, этот один человек может помирить с человечеством людей самых ожесточенных житейскими мерзостями. Столько благородной любви к человеку, столько возвышенности в стремлениях и высказанной просто, без фразерства, столько ума строго последовательного, проникнутого любовью к истине,—я не только не находил, но не предполагал найти..!

...С Н. Г. толкуем не только о литературе, но и по философии, и я вспоминаю при этом, как Станкевич, Герцен учили Белинского, Белинский — Некрасова, Грановский — Забелина и т. п. Для меня конечно сравнение было бы слишком лестно, если бы я хотел тут себя сравнивать с кем-нибудь; но в моем смысле вся честь сравнения относится к Н. Г.» (стр. 509—510).

Таково краткое содержание писем и других материалов самого Чернышевского, вошедших во все три тома его «Литературного наследия».

Мы не исчерпали и десятой доли тех богатейших и драгоценнейших мыслей Чернышевского, которые содержатся в этих трех томах. Задача исследователей и популяризаторов идей Чернышевского состоит в том, чтобы с максимальной возможностью и исчерпывающей полнотой использовать в своих работах это идейное богатство, вскрывая и сильные, и слабые стороны мировоззрения этого очень близкого нам писателя, отбирая и подчеркивая все ценное, подлинно революционное, что ставит его в ряды наших славных предшественников, вскрывая и отбрасывая его утопические воззрения, идеалистические взгляды при истолковании общественных явлений и т. д.

Работа над глубоким и всесторонним изучением жизни, революционной деятельности и научных взглядов Чернышевского ни в каком случае не может считаться законченной. Основной руководящей нитью при изучении идейных основ и революционной деятельности Чернышевского должны служить многочисленнейшие и глубочайшие по своему идейному содержанию высказывания Ленина о Чернышевском, ибо они — единственный и драгоценнейший ключ к разработке самых различных сторон жизни и деятельности этого многогранного писателя, а также к критике всех антимарксистских работ о Чернышевском и высказываний о нем.

В заключение отметим, что научная марксистская мысль с нетерпением ждет выхода в свет других, еще неопубликованных произведений и документов, принадлежащих перу этого величайшего мыслителя, писателя и революционера. Кроме того не мешало бы ускорить издание пятитомного собрания «Избранных сочинений» Чернышевского, предпринятого Комакадемией по заданию комиссии ЦИК СССР по ознаменованию столетия со дня рождения Н. Г. Чернышевского¹.

И. Фролов

ОТ РЕДАКЦИИ

В настоящем обзоре автор не уделал внимания эдиционной и текстологической критике издания (несовершенное расположение материала, не всегда правильно прочитанные тексты и небрежная их подача, не доведенное до конца раскрытие имен и т. д.). Редакция надеется дать эту критику в одном из ближайших номеров «Литературного Наследства», в связи с общей постановкой вопроса об академическом издании сочинений Н. Г. Чернышевского.

¹ Вышли в свет только т. I (исторические работы) и т. IV (литературно-критические произведения). Том второй должен содержать в себе экономические работы, третий — философские и пятый — беллетристические произведения.

От более ранних публикаций помещенные в I томе «Избранных сочинений» Н. Г. Чернышевского тексты работ отличаются тем, что в них впервые восстановлен по рукописям и корректурам полный текст без цензурных изъятий.